

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Лион
Фейхтвангер

ЗАЛ
ОЖИДАНИЯ

КНИГА 2
СЕМЬЯ ОПЕРМАН

« И Н О С Т Р А Н К А »



Иностранная литература. Большие книги

Лион Фейхтвангер

**Зал ожидания. Книга
2. Семья Опперман**

«Азбука-Аттикус»

1956-2009

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

Фейхтвангер Л.

Зал ожидания. Книга 2. Семья Опперман / Л. Фейхтвангер —
«Азбука-Аттикус», 1956-2009 — (Иностранная литература.
Большие книги)

ISBN 978-5-389-24535-8

Создававшийся практически в те дни, когда партия национал-социалистов консолидировала в своих руках власть над Германией зимой 1933 года, роман писателя-антифашиста Лиона Фейхтвангера «Семья Опперман» показывает падение Веймарской республики глазами состоятельной буржуазной еврейской семьи, потрясенной и парализованной новой главенствующей идеологией. Братья Опперман – подлинны столпы общества и олицетворение верности традициям и стабильности в духе Веймарской эпохи: один из них владеет мебельной фирмой, основанной их дедом, другой – выдающийся хирург, третий – уважаемый литератор. Состоятельные, культурные люди, гордые наследники идей немецкого либерализма, Опперманы долго не видят угрозы в рвущейся к власти нацистской партии, но, оказавшись под ее правлением, они, как и их дети, сталкиваются с ужасным выбором: попытаться приспособиться к новому порядку, бежать или подняться на отчаянную борьбу...

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-389-24535-8

© Фейхтвангер Л., 1956-2009

© Азбука-Аттикус, 1956-2009

Содержание

Книга первая	7
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Лион Фейхтвангер

Зал ожидания. Книга 2: Семья Опперман

Lion Feuchtwanger

DIE GESCHWISTER OPPERMANN

Copyright © Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 1956 and 2009

All rights reserved

Перевод с немецкого Иры Горкиной

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука»



© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023 Издательство Иностранка®

Книга первая

Вчера

*Человеческий сброд ничего так не страшится, как разума.
Глупости следовало бы ему страшиться, пойми он, что воистину
страшно.*
Götte

Шестнадцатого ноября, в день своего пятидесятилетия, доктор Густав Опперман проснулся задолго до восхода солнца. Это было досадно: день предстоял утомительный, и накануне он решил хорошо выспаться.

С постели ему видны были поредевшие верхушки деревьев и клочок неба. Небо высокое и ясное, без обычного в ноябре тумана.

Он потянулся, зевнул. Решительно откинул – все равно уже не спалось – одеяло с широкой, низкой кровати, гибким движением сбросил на пол обе ноги, вынырнул из тепла простынь и одеял в холодное утро, вышел на балкон.

Перед ним тремя уступами сбегал вниз, до самого леса, его небольшой сад; справа и слева высились лесистые холмы, и напротив, за далекой зеленой ложбиной, поднимались холмы и темнели леса; с маленького, невидимого отсюда озера, от сосен Груневальда тянуло приятной свежестью. Глубоко и с наслаждением вдыхал он в великой тишине предутреннего часа лесной воздух. Издалека глухо доносились удары топора. Он с удовольствием вслушивался, равномерный стук подчеркивал глубокую тишину. Оглядывая свои владения, Густав Опперман испытывал, как всегда, радостное чувство. Кто, невзначай попав сюда, мог бы подумать, что находится в каких-нибудь пяти километрах от Гедехтнискирхе, центра западной части столицы? Да, он действительно выбрал для своего особняка лучший уголок Берлина. Здесь и сельский покой, и все преимущества большого города. Всего несколько лет, как он выстроил этот небольшой дом на Макс-Регерштрассе, но ему кажется, что он сросся с ним и с лесом, что каждая сосна стала частицей его самого. Он, маленькое озеро и песчаная дорога, закрытая, к счастью, для автомобильного движения, неотделимы друг от друга.

Он постоял недолго на балконе, почти бездумно вбирая в себя утро и любимый пейзаж. Продрог. С удовольствием подумал, что до обычной утренней прогулки верхом остался еще целый час. Забрался снова в тепло постели.

Заснуть, однако, ему не удалось. Проклятый день рождения. Разумнее всего было бы, конечно, уехать из Берлина и тем самым спастись от всей этой сутолоки. Но раз уж он здесь, придется хотя бы ради брата Мартина заехать сегодня в контору. Служащие – такова уж их природа – обидятся, если он лично не примет их поздравлений. Ну что там говорить. Не очень-то приятно сидеть и выслушивать смущенные пожелания подчиненных.

Конечно, настоящий шеф фирмы считал бы это в порядке вещей. Шеф фирмы. Смешно. Мартин – вот кто настоящий делец, не говоря уже о Жаке Лавенделе и о доверенных Бригере и Гинце. Нет, лучше ему и впредь держаться от дел как можно дальше.

Густав Опперман шумно зевает. Человеку в его положении следовало бы, черт побери, быть более радужно настроенным в день своего пятидесятилетия. Разве он не хорошо прожил свои полвека? Вот лежит он, владелец красивого, по собственному вкусу построенного и обставленного дома, обладатель крупного текущего счета в банке и весьма значительной доли в предприятии, любитель и признанный знаток книг, спортсменов, удостоенный золотого жетона. Оба его брата и сестра очень привязаны к нему, у него есть друг, которому он может довериться, множество приятных знакомых, женщины в любом числе, прелестная подруга. Чего же

еще? Если у кого-нибудь могут быть основания для хорошего настроения в такой день, так это именно у него. Почему же, черт побери, его нет, этого хорошего настроения? Что за причина?

Густав Опперман сердито сопит, поворачивается на другой бок, решительно смыкает тяжелые веки, зарывается крупной, мясистой, мужественной головой в подушку и лежит неподвижно. Теперь он заснет. Но нетерпеливая решимость не помогает. Сна нет.

Он улыбается плутовато, по-мальчишески. Надо испытать средство, которое в юности помогало ему. «Жить хорошо, прекрасно, превосходно», – мысленно произносит он. И снова и снова автоматически повторяет: «Жить хорошо, прекрасно, превосходно». Стоит только произнести это раз двести – и сон придет. Но он повторяет триста раз и все-таки не засыпает. А ведь ему в самом деле хорошо живется. Он здоров, обеспечен, полон энергии. В пятьдесят лет ему смело можно дать каких-нибудь сорок с небольшим. И чувствует он себя не старше. Он не слишком богат и не очень беден, не слишком мудр, но и не глуп. Чего он достиг в своей жизни? Без него поэт Гутветтер не выбился бы на дорогу. Одно это уж чего-нибудь да стоит. И доктору Фришлину он помог стать на ноги. Немногое, что он сам написал, – это тщательно сделанные работы о людях и книгах восемнадцатого века, работы, из которых видно, что он не чужд музам, и только. Он нисколько не заблуждается на этот счет. Но для владельца мебельной фирмы это уже кое-что. Он человек средний, не бог весть каких способностей. Быть средним лучше всего. Он не честолюбив. Вернее, не слишком честолюбив.

Еще десять минут, и можно отправляться на верховую прогулку. Он слегка скрежещет зубами, глаза его закрыты, но о сне он больше не думает. Говоря по чести, ему, конечно, остается желать еще многого. Желание первое: Сибилла – подруга, обладание которой у многих вызывает законную зависть. Красивая, умная Эллен Розендорф незаслуженно хорошо к нему относится. И все-таки, если сегодня не будет письма от некой особы, он почувствует горькое разочарование. Желание второе: он, конечно, не рассчитывает, что издательство «Минерва» заключит с ним договор на биографию Лессинга. Да и в самом деле: в такие времена, как нынешние, не так уж важно, будут ли еще раз описаны жизнь и деятельность писателя, умершего полтора столетия назад. Однако, если «Минерва» отклонит книгу, его это все-таки заденет. Желание третье...

Он открыл глаза. Глаза у него глубоко сидящие, карие. Нет, очевидно, он не так уж доволен, не в таком уж ладу с судьбой, как ему казалось за минуту до того. Он крепко сдвинул брови; резкие вертикальные складки прорезали лоб над крупным носом. Сумрачно и напряженно смотрит он в потолок. Удивительно, как мужественное лицо его мгновенно отражает каждый поворот нетерпеливого, изменчивого настроения.

Если «Минерва» возьмет Лессинга, работы над этой книгой больше чем на год. Не возьмет, так он запрет недоработанную рукопись в ящик. Что же ему тогда делать всю зиму? Можно было бы поехать в Египет, в Палестину. Давно уже собирался он совершить такое путешествие. Египет, Палестину нужно повидать.

Нужно ли?

Вздор. К чему портить себе день такими размышлениями? Хорошо, что пора наконец садиться на лошадь.

Через небольшой палисадник он проходит на Макс-Регерштрассе. Фигура у него несколько тучная, но хорошо тренированная, шагает он быстро, твердо и свою массивную голову несет легко. У ворот стоит слуга Шлютер, поздравляет. Прибежала Берта, жена Шлютера, кухарка. И она поздравляет. Густав с сияющим лицом громко и сердечно благодарит, весело смеется. Всклакивает на лошадь. Он знает, что они стоят у ворот и смотрят ему вслед. Что ж, они могут сказать только одно: для пятидесятилетнего он чертовски хорошо держится. Кстати, сидя в седле, он особенно выигрывает, ибо кажется выше, чем в действительности: при высоком стане у него чуть коротковаты ноги. «Как у Гёте», – повторяет (и не реже, чем раз в

месяц) господин Франсуа, директор гимназии королевы Луизы, приятель Густава по Обществу библиофилов.

По дороге Густав встречает кое-кого из знакомых, приветливо машет им рукой, но ни с кем не останавливается. Прогулка пошла ему впрок. Он возвращается в приподнятом настроении. Принять душ и искупаться – чудесная штука. Весело и фальшиво напевает он какую-то сложную мелодию, звучно фыркает под душем. Обильно завтракает.

Он переходит в библиотеку, несколько раз пересекает ее из конца в конец твердым, быстрым шагом, ступая на всю ногу. Его радует прекрасная комната, ее строго продуманная обстановка. Наконец он садится за огромный письменный стол. Широкие окна почти не составляют преграды между ним и ландшафтом, он сидит словно под открытым небом. А перед ним изрядная горка писем: утренняя почта, поздравления.

Густав Опперман, как всегда, просматривает почту с легким радостным любопытством. С ранней юности в мир протянуто множество антенн. Как-то они отзовутся? Вот перед ним юбилейная почта, поздравления, только и всего. А в нем шевелится слабая надежда: вдруг одно из четырех или пяти десятков писем внесет в его жизнь что-нибудь волнующее. Он не сразу вскрывает письма, а сначала раскладывает их, читая или угадывая имена отправителей. Вот – в нем внезапно вспыхивает легкое волнение – письмо от Анны, письмо, которое он ждал. С минуту он держит его в руках, нервно мигая. Потом лицо его озаряется мальчишеской улыбкой. И как ребенок, приберегающий любимое лакомство напоследок, он откладывает письмо в сторону, подальше, чтобы вскрыть после всех. Он читает другие письма: поздравления, пожелания. Это приятно, но не волнует. Он опять тянется за письмом Анны, взвешивает его на ладони, берет нож. Медлит. И очень доволен в конце концов, что приход гостя помешал ему.

А гость – его брат Мартин. Мартин Опперман подходит к нему своей обычной, несколько тяжелой походкой. Густав любит брата, желает ему всяческого добра. Вместе с тем он не может не отметить про себя, что брат, который моложе его на два года, выглядит старше! Братья похожи друг на друга, это все говорят, и это, несомненно, верно. У Мартина такая же крупная голова и такие же глубоко сидящие глаза. Но глаза Мартина кажутся тусклыми и до странности сонными. В нем все тяжелей, массивней.

Мартин протягивает Густаву обе руки.

– Что тебе сказать? Могу только пожелать, чтобы все и дальше было так, как есть. Желаю тебе этого от души. – Манера говорить у всех Опперманов, за исключением Густава, ворчливая. Они не любят показывать свои чувства. Мартин сдержан и полон достоинства. Но Густав ясно чувствует в его словах сердечность.

Мартин Опперман привез брату подарок. Шлютер вносит его. Из большого пакета появляется картина. Это поясной портрет в овальной раме. Над отложным воротником, какие носили в девяностых годах, на несколько короткой шее – крупная, массивная голова. Над глубоко сидящими, чуть сонными глазами Опперманов – тяжелый выпуклый лоб. Лицо выражает хитрость, вдумчивость, душевное равновесие. Это портрет Эммануила Оппермана, деда, основателя мебельной фирмы Опперман. Таким был Эммануил Опперман, когда ему минуло шестьдесят лет, вскоре после рождения Густава.

Мартин ставит портрет на большой письменный стол и придерживает раму мясистыми холеными руками. Задумчивыми карими глазами Густав всматривается в хитрые карие глаза деда своего Эммануила. Нет, портрет не очень хорош. Он старомоден и художественно малоценен. Но все четверо Опперманов привязаны к этому портрету. Он дорог им с ранней юности, они сжились с ним. Может быть, они вкладывают в него больше, чем в нем есть на самом деле. Густав не любит увешивать картинами светлые стены своего жилища. Во всем доме у него одна только картина – в библиотеке. Но получить портрет деда для своего кабинета было его давнишним и заветным желанием. Мартин же полагал, что место портрета – в главной конторе

фирмы. И хотя братья во всем отлично ладили, Густав был в обиде на Мартина за то, что тот не отдавал ему портрета.

И вот теперь, радостный и довольный, смотрит Густав на лицо деда. Он знает, что Мартину нелегко было расстаться с портретом. Многословно, весь сияя, выражает он свою радость, свою благодарность.

После ухода Мартина он зовет Шлютера и показывает ему, куда повесить портрет. Место давно уже намечено. И значит, сейчас портрет действительно будет висеть там. Густав нетерпеливо ждет минуты, когда Шлютер закончит работу. Наконец все готово. Кабинет, библиотека и третья комната первого этажа – комната, где Густав завтракает, – органически переходят одна в другую. Медленно, в раздумье переводит он взгляд с портрета Эммануила Оппермана – своего прошлого – на другой портрет, бывший до сих пор единственным во всем доме: на портрет Сибиллы Раух, своей подруги, своего настоящего.

Нет, конечно, высоким образцом искусства портрет Эммануила Оппермана никак нельзя назвать. Художника Александра Иоэlsa, который писал его по заказу друзей Эммануила Оппермана, в свое время до смешного переоценивали. В наши дни его никто и не вспомнит. Но Густав меньше всего ценил в портрете его художественные достоинства: он и его близкие любили в нем самого деда и дело его жизни.

В жизненной задаче Эммануила Оппермана не было, в сущности, ничего высокого. Он был дельцом, и дельцом преуспевающим. Но для истории еврейского населения Берлина эта жизнь значила нечто гораздо большее. Опперманы поселились в Германии с незапамятных времен. Предки их жили в Эльзасе. Были они там мелкими банкирами, золотых дел мастерами, купцами. Прадед нынешних Опперманов переселился из баварского города Фюрта в Берлин. Дед – Эммануил Опперман – в 1870–1871 годах занимался крупными поставками для действовавшей во Франции германской армии. В грамоте, висящей ныне под стеклом в главной конторе Торгового дома, немногоречивый фельдмаршал Мольтке засвидетельствовал заслуги господина Оппермана перед германской армией. Несколько лет спустя Эммануил Опперман основал мебельное предприятие, рассчитанное на вкусы широкого потребителя. Путем стандартизации производства он создал для своей клиентуры доступные цены. Эммануил Опперман любил своего клиента. Он прощупывал его со всех сторон, угадывал его сокровенные желания, создавал ему новые потребности, удовлетворял их. По городу широко распространялись его добродушные остроты, в которых здравый смысл берлинца хорошо уживался с характерным для Эммануила Оппермана беззлобным скептицизмом. В Берлине, а вскоре и за его пределами Эммануил Опперман стал популярной фигурой. Вполне естественно, что внуки Оппермана сделали портрет деда торговой маркой своей фирмы. Прочная и многообразная связь Эммануила Оппермана с населением немало способствовала тому, чтобы равноправие немецких евреев, существовавшее только на бумаге, стало реальностью, а Германия – их подлинной родиной.

Густав хорошо помнит своего деда. Маленьким мальчиком он три раза в неделю бывал у него в доме, на Старой Якобштрассе, в центре Берлина. Образ плотного мужчины в ермолке, с книгой в руках или на коленях, уютно сидящего в черном вольтеровском кресле, зачастую перед стаканом вина, глубоко запечатлелся в сердце мальчика, внушая почтение и в то же время нежность. Входя в квартиру деда, Густав испытывал благоговение, что не мешало ему чувствовать себя здесь как дома. Ему разрешалось сколько угодно рыться в колоссальной библиотеке. Здесь он впервые научился любить книгу. Дед никогда не ленился разъяснять Густаву непонятные места в прочитанных книгах. Но, хитро сощулив сонные глаза, он давал такие двусмысленные объяснения, что нельзя было понять, серьезно он говорит или шутит. Никогда потом Густав так ясно не чувствовал, что в этих книгах все – ложь, и, однако, в них больше правды, чем в действительности. Бывало, спросишь о чем-нибудь деда, а он ответит тебе, словно бы и невпопад, а потом окажется, что это и есть ответ, притом единственно правильный.

Стоя перед изображением Эммануила Оппермана, Густав не то что вспоминал, а видел все это. В глазах деда было столько добродушной, лукавой мудрости, что Густав почувствовал себя мальчиком, но мальчиком, у которого есть надежная опора.

Возможно, что для второй картины, для картины, висевшей в библиотеке, для портрета Сибиллы Раух, невыгодно было сопоставление с новой. Бесспорно, Андре Грейд, писавший портрет Сибиллы, и по технике, и по мастерству во много раз превосходил Александра Иоэльса. В картине Грейда было много воздуха. Художник знал, что портрет будет висеть на светлой стене и что вся стена послужит ему дополнительным фоном. И вот на светлой стене порывисто и своевольно выступает Сибилла Раух. Тонкая, решительная, слегка выставив вперед одну ногу, стоит она там. На стройной шее – удлинённая голова; из-под высокого, узкого, упрямого лба глядят упрямые детские глаза, скулы резко очерчены; удлинённая нижняя половина лица как бы отступает назад; подбородок совсем детский. Портрет без прикрас, очень точный. «До карикатурности точный», – сердилась Сибилла Раух, когда бывала не в духе. Но портрет не затушевывал и привлекательных черт Сибиллы. Какой-то ребячливостью веяло от облика этой тридцатилетней женщины; при этом лицо ее выражало ум и своеволие. «Своекорыстие», – подумал Густав Опперман под влиянием другого портрета.

Вот уже десять лет, как Густав встретился с Сибиллой. Она была тогда танцовщицей, изобретательной, не очень музыкальной, имевшей, однако, успех. У нее были деньги, она жила в свое удовольствие, балуемая умной, терпеливой матерью. Южногерманский наивный юмор грациозной девушки, так своеобразно сочетавшийся с будничной практической смышленостью, привлек Густава. Она же чувствовала себя польщенной откровенным вниманием этого солидного, уважаемого человека. Между ними, хотя он был на двадцать лет старше, как-то сразу возникла большая, необычайная близость. Он был для нее любовником и старшим братом одновременно. Ему был понятен любой ее каприз, с ним она могла быть до конца откровенной, его советы были взвешенны, разумны. Он осторожно внушил ей, что при недостаточной музыкальности она как танцовщица никогда не добьется настоящего успеха. Она поняла это, быстро и решительно переключилась и под руководством Густава стала писать. У нее была своя, красочная манера изложения; газеты охотно печатали ее лирические картинки и короткие рассказы. Когда в превратностях германской экономики состояние ее растаяло, она уже почти могла жить литературным трудом. Густав, не обладавший творческим талантом, зато отличный критик, помогал ей заботливым, разумным советом. Его многочисленные связи раскрывали перед ней двери редакций. Оба нередко подумывали о том, чтобы пожениться; она, пожалуй, чаще, чем он. Но она поняла, что он предпочитает не накладывать цепей законности на их связь. В общем, эти десять лет были хорошими годами для нее и для него.

«Хорошими? Скажем, приятными», – думал Густав Опперман, глядя на портрет смышленного, милого, своенравного ребенка.

И вдруг мысль его вернулась к письму, к нескрытому письму на большом письменном столе, к письму Анны. С Анной это не были бы десять приятных лет. Это были бы годы, полные ссор и треволнений. Но, с другой стороны, будь он теперь с ней, ему вряд ли пришлось бы нынче утром ломать голову над вопросом: как убить зиму, если его книга о Лессинге будет отклонена? Он знал бы отлично, что делать с собою, куда себя деть. Перед ним, вероятно, было бы столько задач, что он умолял бы не вводить его в соблазн Лессингом.

Нет, он терпеть не может того суетливого дерганья, которое он наблюдает у многих друзей. Он любит свой достойный, содержательный досуг. Приятно сидеть в своем красивом доме, среди своих книг и глядеть на сосновые склоны Груневальда, зная, что у тебя есть обеспеченный доход. Хорошо, что тогда, после двух лет связи с Анной, он поставил точку.

Кто поставил точку: он или она? Нелегко разобраться в истории собственной жизни. Одно несомненно: исчезни Анна из его жизни совсем, он почувствовал бы пустоту. Правда, от встреч с ней всегда оставалась горечь. Анна ужасная спорщица. У нее этакая прямолинейная

манера говорить все начистоту о каждой ошибке, отмечать малейшую слабость. Перед встречей с нею, даже перед тем, как вскрыть ее письмо, у него всегда такое чувство, точно он должен предстать перед судом.

Он держит ее письмо в руках, берет нож, одним движением взрезает конверт. Читает, крепко сдвинув густые брови. На лице его напряжение, лоб прорезали резкие вертикальные складки.

Анна поздравляет немногословно, сердечно. Красивым, ровным почерком пишет, что идет в отпуск в конце апреля и охотно провела бы этот месяц с ним. Если он хочет встретиться, пусть напишет, где и как.

Лицо Густава разглаживается. Он боялся этого письма. Но письмо хорошее. Анне нелегко живется. Она – секретарь правления штутгартских электростанций, она очень поглощена работой, и вся ее личная жизнь ограничивается этими четырьмя неделями отпуска. И она предлагает ему провести их вместе. Значит, Анна еще не совсем от него отказалась.

Он читает письмо вторично. Нет, Анне он не безразличен, она не бросает его. Старательно и фальшиво напевает он про себя все ту же приставшую с утра сложную мелодию. Безотчетно поглядывает на портрет Эммануила Оппермана. И очень доволен.

Мартин Опперман тем временем едет к себе в контору. Особняк Густава находится на Макс-Регерштрассе, на самой границе Груневальда и Далема, а главная контора Опперманов – на Гертраудтенштрассе, в центре старого города. Шоферу Францке потребуется не менее двадцати пяти минут. В лучшем случае Мартин приедет в контору в одиннадцать часов десять минут. Если же не повезет со светофорами, он доберется туда только к половине двенадцатого. А с Генрихом Вельсом условлено на одиннадцать. Мартин Опперман не любит заставлять себя ждать. Но ему вдвойне досадно, что он заставит ждать Генриха Вельса: и без того беседа предстоит не из приятных.

Мартин Опперман сидит в машине прямо, не облачиваясь. Красивой и непринужденной позу его назвать нельзя. Все Опперманы отличаются грузностью. Эдгар, врач, не так грузен, как остальные, а Густав немного сбрасывает вес спортом. Мартину же некогда заниматься такими вещами. Он человек деловой, отец семейства, у него многочисленные обязанности. Он сидит выпрямившись, подавшись вперед большой головой, закрыв глаза.

Да, от беседы с Генрихом Вельсом он не ждет ничего хорошего. И вообще в нынешней деловой жизни редко бывает что-либо хорошее. Ему не следовало заставлять Вельса ждать. Он мог бы отвезти портрет вечером, когда поедет к Густаву на ужин. Не было никакой необходимости делать это утром. Он любит Густава и завидует ему. Густаву живется легко. Даже слишком легко. И Эдгару, врачу, тоже легко живется. А ему, Мартину, пришлось взять на себя наследие Эммануила Оппермана. Дьявольски трудно в нынешние времена, времена кризиса и растущего антисемитизма, достойно представлять это наследие.

Мартин снимает котелок, проводит рукой по редким черным волосам, слегка вздыхает. Ему не следовало заставлять Вельса ждать.

Вот и людный Денгофплац. Еще несколько минут, и он наконец приедет. А вот и дом. Зажатый соседними зданиями, узкий, старомодный, но прочный, строившийся в давние времена и на долгие времена, он внушал доверие. Автомобиль скользнул мимо всех четырех больших витрин и остановился у главного подъезда. Мартин охотно выскочил бы из машины, но сдержал себя: солидность прежде всего.

Раньше чем толкнуть вращающуюся дверь, старый швейцар Лещинский вытянулся по-военному. Мартин Опперман, как обычно, коснулся пальцем шляпы. Август Лещинский служил в фирме еще со времен Эммануила Оппермана и знал решительно все. Знал он, конечно, и то, что Мартин ездил к брату Густаву поздравлять его с пятидесятилетием. Считает ли старик подобную причину опоздания уважительной? Лицо у Лещинского, с седыми торчащими

усами, всегда недовольное, осанка всегда деревянная. Сегодня же он вытянулся перед Мартином особенно прямо и неподвижно: он явно оправдывал поведение своего патрона.

Однако Мартин был на этот счет другого мнения. Он поднялся на четвертый этаж. Вошел в контору через боковую дверь. Ему не хотелось видеть, как Генрих Вельс сидит и ждет его.

На стене, над письменным столом, висел, как во всех филиалах оппермановской фирмы, портрет Эммануила Оппермана. Мартина слегка кольнуло: перед ним был уже не оригинал, а только копия. По существу, конечно, безразлично, где оригинал: здесь или у Густава. Густав больше смыслит в этих вещах, у него времени больше, да и портрет у него сохраннее; в конце концов, у Густава и прав на него больше. Но Мартину все же не по себе при мысли, что отныне перед его глазами будет копия дедовского портрета.

Вошла секретарша: почта, бумаги на подпись, телефоны, по которым просили позвонить.

– Да, вот еще: господин Вельс ждет. Он был вызван на одиннадцать часов.

– Давно он здесь?

– Около получаса.

– Просите.

Мартина Оппермана никогда нельзя застать врасплох. Ему незачем подтягиваться перед приходом посетителя. Но сегодня он чувствует себя «не в форме» для такой беседы. Он тщательно подготовил ответ Вельсу, всесторонне обсудил его со своими доверенными – Гинце и Бригером. Но задача состояла в том, чтобы не ущемить самолюбия Вельса, тут все зависело от нюансов. Катастрофа, что он заставил Вельса ждать.

А дело было вот в чем. В первые годы Эммануил Опперман не сам производил мебель для продажи, а заказывал ее Генриху Вельсу-отцу, в то время молодому добросовестному ремесленнику. После открытия двух филиалов в Берлине – штеглицкого и на Потсдамерштрассе – отношения с Вельсом осложнились. Вельс был добросовестен, но он был вынужден дорого продавать свои изделия. После смерти Эммануила Оппермана, по настоянию Зигфрида Бригера, нынешнего доверенного фирмы, часть мебели начали заказывать на фабриках, это обходилось дешевле, а когда дело перешло к Мартину и Густаву, они открыли собственную фабрику. Для некоторых более сложных работ, для изготовления штучных изделий по-прежнему обращались в мастерскую Вельса. Но главную массу мебели для оппермановской фирмы, открывшей один филиал в Берлине и пять в провинции, поставляла собственная фабрика.

Генрих Вельс-сын наблюдал за этими переменами с затаенной злобой. Он был несколькими годами старше Густава, был трудолюбив, солиден, своенравен, медлителен. Он открыл при своих мастерских образцово поставленные магазины и вел дело с величайшей тщательностью, стремясь сравняться с Опперманами. Но это ему не удавалось. Его цены не могли конкурировать с ценами оппермановской стандартной мебели. Имя Опперман известно было великому множеству людей, фабричная марка Опперманов – портрет Эммануила Оппермана – проникла в самые отдаленные провинции. Простоватый, старомодный текст оппермановских объявлений: «Кто покупает у Оппермана, покупает дешево и хорошо» – стал поговоркой. По всей стране немцы работали у оппермановских столов, ели за оппермановскими столами, сидели на оппермановских стульях, спали на оппермановских кроватях. На вельсовских кроватях спалось, вероятно, удобнее, вельсовские столы были, вероятно, сработаны прочнее. Но большинство людей предпочитало платить дешевле, мирясь с тем, что покупаемые вещи, быть может, несколько худшего качества. Генрих Вельс не мог понять этого. Это точило его сердце ремесленника. Потерян, что ли, в Германии вкус к солидности? Не видят, что ли, обманутые покупатели, что над его, вельсовским, столом мастер работал восемнадцать часов, тогда как оппермановское добро – фабричный хлам? Нет, они не видели этого. Они видели только, что у Вельса стол шел за пятьдесят четыре марки, а у Оппермана за сорок. И покупали у Оппермана.

Генрих Вельс перестал понимать мир. Озлобление его росло.

В последние годы, правда, стало лучше. Все громче заявляло о себе движение, которое считало, что ремесленный труд более соответствует духу немецкого народа, чем стандартизованное интернациональное фабричное производство. Движение это называло себя «национал-социализм». Оно насаждало мысль, с которой Вельс давно уже носился: что в гибели Германии виноваты евреи с их универсальными магазинами, с их изворотливостью в торговых делах. Генрих Вельс всей душой примкнул к движению. Он стал председателем районного отдела национал-социалистической партии. С радостью наблюдал он, как крепнут националисты. Правда, обыватель по-прежнему предпочитал покупать более дешевые оппермановские стулья, но при этом он хоть ругал Опперманов. Партия добилась также того, что крупные фирмы облагались более высокими налогами, так что Опперманы, например, вынуждены были на те же столы, которые Вельс продавал по пятьдесят четыре марки, постепенно набавить цену с сорока до сорока шести марок.

Во все девять магазинов оппермановской фирмы посыпались юдофобские письма; по ночам на витрины оппермановских магазинов наклеивались антисемитские листки. Старая клиентура уходила. Чтобы удержать покупателей, приходилось не меньше чем на десять процентов снижать цены по сравнению с ценами конкурента-нееврея. Если Опперманы снижали цену только на пять процентов, то кое-кто из клиентов предпочитал покупать уже в христианской фирме. Под нажимом национал-социалистской партии власти изыскивали всевозможные поводы для придинок и каверз. Генрих Вельс выиграл бой: разница в ценах на его и оппермановские товары сокращалась все более и более.

Внешне, однако, фирма Опперман продолжала сохранять с фирмой Вельс хорошие отношения. Более того: по настоянию Жака Лавенделя и доверенного фирмы Бригера Генриху Вельсу дали понять, что он может начать переговоры о слиянии обеих фирм или, по крайней мере, о более тесном их сотрудничестве. Если бы такая сделка состоялась, с фирмы Опперман было бы снято клеймо еврейской фирмы, и несомненно, войди Вельс компаньоном, власти стали бы смотреть сквозь пальцы на кое-какие нарушения фирмой тех или иных правительственных декретов и распоряжений.

Успехи Опперманов гораздо сильнее били по честолюбию Генриха Вельса, чем по его жажде наживы. И он был счастлив, что его мастерские идут в гору. После некоторых предварительных разговоров с господином Бригером Вельс получил даже письмо, составленное в весьма вежливом тоне. До фирмы, мол, дошли слухи, что у него, Вельса, есть к фирме Опперман кое-какие предложения, имеющие целью установить еще более приятные формы сотрудничества, чем до сих пор. Фирма весьма заинтересована и просит его заехать для личных переговоров 16 ноября, в одиннадцать часов утра, в контору на Гертраудтенштрассе.

И вот он сидит в приемной и ждет.

Генрих Вельс представительный мужчина. У него открытое, суровое лицо, широкий лоб, изрезанный глубокими морщинами. Генрих Вельс человек порядка, точность – одно из его правил. Кто, собственно говоря, сделал первый шаг? На заседании союза мебельных фабрикантов доверенный Бригер рассказывал ему о затруднениях, которые теперь испытывает фирма Опперман. Бригер буквально навел его на некоторые вопросы. Сейчас уже не докопаться, кто сделал первый шаг. Как всегда, Генрих Вельс явился сюда с предложением, которое и для него не убыточно, но, пожалуй, гораздо более выгодно для конкурента. Только конкурент, видимо, не желает признавать это обстоятельство. Он посмотрел на часы. Офицер запаса, всю войну прошедший на фронте, он привык к пунктуальности. Не было еще одиннадцати, когда он пришел сюда. И вот он сидит здесь, а эта наглая сволочь заставляет его ждать. Одиннадцать часов десять минут. Суровое лицо Генриха Вельса темнеет. Он подождет еще десять минут, не больше, а там... пусть сами расхлебывают кашу.

С кем, однако, ему придется иметь дело? Генрих Вельс плохой знаток людей; тем не менее он хорошо знает, кто в фирме Опперман поддержит его проект и кто будет против него:

Густав и Мартин Опперманы – люди несносно высокомерные, с чисто иудейской спесью. С ними ему ни за что не договориться. С доверенным Бригером, хоть это не просто еврей, а целая синагога, столкнуться легче. Возможно, что их соберется пять-шесть человек, да еще, вероятно, они пригласят своего юрисконсульта. Бой будет нелегким, ему придется сражаться против превосходящих сил противника. И все-таки. Уж он своего добьется.

Одиннадцать часов двадцать минут. Он ждет еще пять минут. Они хотят, чтобы он присос к стулу. Еще пять минут – и он сочтет свои предложения за давностью потерявшими силу, и тогда прошу покорно, господа хорошие!

Одиннадцать часов двадцать пять минут. Он уже выучил назубок номер «Мебельного торговца», который лежал на столе в приемной. Они там, в конторе, чертовски долго совещаются. К добру ли это? Была бы здесь хоть секретарша, чтобы послать напомнить о себе. Безобразие. Но он возместит им это сторицей.

Одиннадцать часов двадцать шесть минут. Его просят в кабинет.

Мартин Опперман сидит один. Генриху Вельсу кажется вдруг, что он предпочел бы иметь дело с пятью-шестью противниками, чем с одним Мартином. Мартин – самый вредный. С ним трудней всего справиться.

Мартин Опперман встает навстречу Генриху Вельсу.

– Прошу прощения, я заставил вас ждать, – говорит он учтиво.

Мартин намеревался было проявить еще большую учтивость и привести причину своего опоздания. Но суровое, тяжелое лицо Вельса, как всегда, оттолкнуло его, и он не сделал этого.

– К сожалению, в наши дни единственное, чем деловой человек обладает в избытке, – это время, – мрачным, скрипучим голосом ответил Вельс.

Сонные глаза Мартина Оппермана сосредоточенно и серьезно оглядывают крупную фигуру Вельса. Мартин старается говорить возможно учтивее.

– Я долго и всесторонне обдумывал ваши предложения, господин Вельс, – говорит он. – В принципе мы согласны обсудить их, несмотря на целый ряд сомнений. Наш баланс лучше вашего, господин Вельс. Но я буду с вами откровенен: удовлетворительным его не назовешь. Он неудовлетворителен.

Мартин не смотрел на Вельса. Он поднял глаза на портрет Эммануила Оппермана и подумал, что, к сожалению, это только копия. Не такой тон следовало взять с угрюмым, оскорбленным человеком, сидевшим против него. Пока еще нет нужды идти на соглашение с Вельсом. На политическом горизонте как будто довольно спокойно; возможно, что положение не изменится и в ближайшие месяцы и годы. Тем не менее уверенности нет. Осторожность всячески рекомендуется. И единственно правильная тактика – держать Вельса про запас, поддерживать с ним хорошие отношения. Тон сегодняшней беседы вряд ли способствует этому. Эммануил Опперман, несомненно, сумел бы лучше подойти к этому деревянному, сухому человеку.

Господин Вельс был тоже недоволен. Этак далеко не уедешь.

– Мои дела довольно плохи, – сказал он, – но и ваши не лучше. Между нами, девушками, это можно прямо сказать.

Генрих Вельс скривил в улыбку суровые губы. Шутка, произнесенная его глухим голосом, прозвучала как-то особенно мрачно.

Перешли к деталям. Мартин вытащил пенсне, к которому прибегал очень редко, стал тщательно протирать стекла. Сегодня господин Опперман поистине с трудом переносил господина Вельса, а господин Вельс – господина Оппермана. Каждый находил другого невыносимо заносчивым, совещание для обоих превратилось в пытку. Господин Вельс решил, что Опперманы относятся к делу несерьезно. Они соглашались на эксперимент, который их мало к чему обязывал. Они предлагали слить один из своих берлинских филиалов и один из провинциальных с двумя вельсовскими. Нет, господину Вельсу это невыгодно. В случае неудачи

Опперманы потеряют два филиала из восьми, с этим они могут примириться. Он же потеряет два из трех, и ему тогда крышка.

– Вижу, что ошибся, – кисло сказал господин Вельс. – Я полагал, что мы придем к какому-нибудь соглашению. К перемирию, вернее, – поправился он с едва заметной кривой усмешкой. Тяжеловесный Мартин Опперман вежливо и мягко заверил господина Вельса в том, что у него и в мыслях нет считать их переговоры сорванными. Наоборот, он уверен, что при повторных и подробных переговорах они непременно придут к соглашению с господином Вельсом.

Господин Вельс пожал плечами. Он было внушил себе, что Опперманы – конченные люди. А теперь оказывается, что не себя, а его они считают конченным человеком. Ему они собираются бросить какую-то жалкую косточку, а жирный кусок берегут про себя. Он ушел мрачный, разгневанный.

«Как бы вы не просчитались, господа хорошие», – думал Вельс, спускаясь в лифте. Он даже произнес это вслух.

Мальчик-лифтер удивленно посмотрел на угрюмого человека.

Мартин после ухода Вельса еще долго сидел за своим большим письменным столом. Учивое, уверенное выражение мгновенно исчезло с его лица, едва Вельс вышел из комнаты. Он, Мартин, не достиг своей цели, провалил дело. Он был раздражен, недоволен собой.

Мартин Опперман вызвал доверенных Зигфрида Бригера и Карла-Теодора Гинце.

– Ну, как? Справились со свирепым гоем? – сразу же выпалил Зигфрид Бригер, едва поздоровавшись.

Маленький, юркий, лет шестидесяти с лишним, худощавый, порывистый, ярко выраженной еврейской наружности, он почти вплотную придвинул стул к своему патрону. Длинным носом над большими буро-седыми усами Зигфрид Бригер словно обнюхивал воздух. Карл-Теодор Гинце остановился на почтительном расстоянии от патрона, сдержанный, подтянутый, явно осуждая бесцеремонную суетливость коллеги.

Карл-Теодор Гинце осуждал все, что делал Зигфрид Бригер, а Зигфрид Бригер потешался над всем, что делал Карл-Теодор Гинце. Карл-Теодор Гинце во время войны командовал ротой, в которой Бригер служил рядовым ополченцем. Уже в те времена они относились друг к другу скептически, хотя и тогда уже были друг к другу расположены. А позже, после окончания войны, когда аристократу господину Гинце пришлось паршиво, господин Бригер устроил его в мебельную фирму Опперман. Под руководством Бригера трудолюбивый и добросовестный Гинце очень быстро пошел в гору.

Мартин Опперман сделал своим доверенным подробное сообщение. Все трое насквозь знали друг друга. Каждый из них легко мог предвидеть результат переговоров. Никто не думал, что Вельс даст себя уломать, важно было лишь, как пойдут переговоры. После сообщения Мартина всем стало ясно, что разумнее было поручить их не Мартину, а Зигфриду Бригеру. Бригер предложил бы Вельсу еще меньше, и все-таки Вельс ушел бы убогоугодным. Что делать дальше, было ясно. Вельсу следовало показать, что и без его содействия можно снять с оппермановских предприятий клеймо еврейской фирмы. Это сделало бы Вельса покладистей. Временное затишье на политическом горизонте надо было использовать для проведения кое-каких необходимых, давно продуманных мероприятий.

Надо было попросту превратить еврейскую фирму Опперман в акционерное общество с нейтральным, не вызывающим подозрения наименованием. Многие еврейские фирмы удачно проделали этот опыт. Часто случалось, что покупатели, бойкотировавшие еврейскую фирму, обращались в анонимное – нееврейское – акционерное общество, которое в действительности являлось дочерним предприятием все той же ненавистой еврейской фирмы. Опперманы и без участия Вельса могли основать акционерное общество «Немецкая мебель» и для начала объединить в нем один берлинский и один провинциальный филиалы.

Это не представляло трудностей и обещало успех – словом, это было то, что нужно. И все-таки решиться было нелегко. «Немецкая мебель», ну что это такое? «Немецкая мебель» ничего не говорит ни уму, ни сердцу, как какой-нибудь безликий железнодорожный вагон. Другое дело – «Мебельная фирма Опперман». Название это неотделимо от портрета Эммануила Оппермана, от грузного, исполненного достоинства Мартина, от шустрого длинноносого Зигфрида Бригера. Оторвать от себя штеглицкий и бреславльский филиалы – все равно что дать ампутировать себе палец.

Но, может быть, это необходимо для спасения всего организма. Да, необходимо.

Раз уж решение принято, надо действовать быстро. Мартин снесется со всеми Опперманами и сегодня же договорится с профессором Мюльгеймом, юриконсультантом Опперманов.

Оставшись один, Мартин тяжело оперся о подлокотники кресла, сгорбился. А ведь, пожалуй, и в самом деле невредно было бы хоть по утрам заниматься гимнастикой, как советует жена? Сорок восемь лет не такой уж страшный возраст, но если не следить за собой, через два года будешь стариком. А у Густава сегодня был на редкость молодой и свежий вид. Густаву живется легко. Чтобы гимнастика оказала действие, нужно тратить на нее по меньшей мере минут двадцать пять ежедневно. А откуда ему, Мартину, выкроить эти двадцать пять минут?

Мартин выпрямляется, вздыхает, берется за почту. Нет. Это не так важно. Сначала следует покончить с более важными делами: он всегда придерживался этого правила. Нужно известить родных. Густаву нынешний день он не желает портить. Да Густав вообще возражать не станет. Безусловно. Он повздыхает, сделает несколько замечаний философского характера и даст свою подпись. С Эдгаром еще проще. Труднее всего будет разговор с Жаком Лавенделем, шурином, мужем Клары Опперман. Возражать и он не станет; наоборот, как умный делец, он давно настаивал на перемене вывески. Но Жак Лавендель очень уж прямолинеен. Мартин ничего не имеет против того, чтобы люди высказывали свое мнение без обиняков. Но Жак Лавендель чересчур прямолинеен.

Мартин просит секретаршу соединить его с профессором Эдгаром Опперманом и Жаком Лавенделем. Профессора Оппермана, докладывает секретарша, нет дома – он в клинике. Разумеется, он всегда в клинике. Когда он вернется, ему передадут просьбу позвонить в контору. Но он этого не сделает: он слишком занят своей клиникой и слишком мало интересуется делами фирмы. Итак, по отношению к нему Мартин свой долг выполнил.

У телефона Жак Лавендель. С ним никогда нет хлопот. Хрипловатым приветливым голосом, едва Мартин произнес первые вступительные фразы, он говорит, что ему хотелось бы не по телефону, а лично потолковать с Мартином об этом деле; если Мартин не возражает, ведь это же совсем рядом, он после обеда на часок заедет к нему. Мартин не возражает. Он будет очень рад.

Он несколько не рад. Обед с женой и сыном и краткий послеобеденный досуг – его любимые часы дня. Иногда нельзя избежать гостей и в это время: есть дела, которые в домашней обстановке лучше разрешаются, чем в конторе. Но он очень неохотно идет на это: в таких случаях весь день для него испорчен.

Эммануил Опперман смотрит сонными, хитрыми, довольными глазами на внука. А Мартин не столько думает, сколько чувствует: перед ним копия, не оригинал.

Как всегда, ровно в два часа Мартин подъехал к своей квартире на Корнелиусштрассе, в районе Тиргартена. Он прежде всего сменил пиджак и воротничок: между деловой обстановкой и личной жизнью должна существовать какая-то грань. Потом он прошел в «зимний сад». Это была большая комната, пышно и несколько банально обставленная; Мартин считал, что и его частная квартира должна быть обставлена оппермановской мебелью.

Жена и сын о чем-то оживленно разговаривали. Семнадцатилетний Бертольд, обладавший живым даром речи, порою, как и отец, бывал скуп на слова, в особенности если дело касалось вещей, сильно его волновавших. Мартин обрадовался, что сегодня он разговорчив.

При входе Мартина Лизелотта прервала сына. Улыбаясь, она повернула к мужу большое светлое лицо:

– Как ты себя чувствуешь, мой милый?

– Благодарю, хорошо, – бодро ответил Мартин. И, обращаясь к Бертольду, в свою очередь улыбнулся: – Здравствуй, мальчик.

Но серые удлиненные глаза Лизелотты за восемнадцать лет совместной жизни научились читать в лице мужа. Мартин не любил дома говорить о делах, и все же она видела, что он сегодня, сейчас, находится на пороге каких-то важных решений.

Сели за стол. Бертольд продолжал оживленно рассказывать. Он унаследовал от отца крупное мясистое лицо, от матери – ее серые смелые глаза. В семнадцать лет почти догнав отца ростом, юноша обещал на голову перерасти его.

Бертольд рассказывал о школьных делах. Их классный наставник, доктор Гейнциус, несколько дней тому назад погиб в автомобильной катастрофе, и сейчас директор Франсуа временно взял на себя преподавание предметов покойного – истории и немецкой литературы. Это были любимые предметы Бертольда; он, как и его дядя Густав, любил книги и спорт. С доктором Гейнциусом у него установились на редкость хорошие отношения. И вот доктор Гейнциус разрешил ему взять для доклада по свободному выбору, какой полагалось раз в год делать ученикам предпоследнего класса, особенно трудную тему: «Гуманизм и двадцатый век». Дадут ли ему возможность теперь, после смерти любимого учителя, сделать этот доклад? И справится ли он с «гуманизмом» без дружеской помощи доктора Гейнциуса? Директор Франсуа не возражает против этой темы, но все будет зависеть от решения нового преподавателя, который, вероятно, со следующей недели приступит к исполнению своих обязанностей.

– Я взял на себя немалую задачу: «гуманизм» – чертовски трудная проблема, – в раздумье закончил Бертольд низким грудным голосом.

– А не лучше ли тебе выбрать не столь общую тему? – посоветовал Мартин.

– Может быть, ты возьмешь какого-нибудь современного автора? – предложила Лизелотта, ободряюще глядя на сына серыми удлиненными глазами.

Мартин удивился. Удобно ли теперь выступить в школе с темой о современной литературе? Обычно Мартин и Лизелотта сходились во мнениях. Но она, христианка из старинной прусской чиновничьей семьи Ранцовых, склонялась часто к более радикальным суждениям.

Мартин заговорил о другом. Сообщил, что после обеда он ждет Жака Лавенделя. Это сейчас же отвлекло Бертольда от «гуманизма». Нельзя ли ему воспользоваться машиной? Отец, не знаящий устал в своей работе, целыми днями колесит по городу. Бертольду редко выпадает возможность получить машину. Случая упускать нельзя. Неплохо, например, съездить на спортивную площадку, потренироваться в футбол. А это как раз на Саксонском проспекте – прекрасный предлог для автомобильной прогулки. Удовольствие это, правда, должно стоить трех часов, которые он предназначил для «гуманизма». Пустяки. Для «гуманизма» он всегда урвет время, а вот когда ему удастся еще раз «урвать» для себя машину, неизвестно.

Поэтому, как только встают из-за стола, Бертольд прощается с родителями. Он telefонирует школьному товарищу Курту Бауману, предлагая ему встретиться у Галлешких ворот, чтобы вместе ехать на спортивную площадку на Саксонском проспекте. Курт Бауман совсем не в восторге от предложения Бертольда – у него испортился радиоприемник, он его разобрал: надо доискаться, в чем там дело, на это нужно время. Но Бертольд не отстает. Он говорит о сюрпризе, который ждет Курта. В его голосе такое торжество, что Курт догадывается: «Ты получил машину? Вот здорово!» Бертольд Опперман хороший товарищ; он делится честно и справедливо: сам списывает у Курта математику, а ему позволяет списывать у себя сочинения по литературе, а когда шофер Францке пускает их к рулю, он правит две трети времени, а на треть уступает руль Курту Бауману.

Наконец-то Бертольд сидит рядом с шофером Франкке. Конечно, Франкке иногда бывает не в духе, и тогда он не склонен разговаривать. Но сегодня он в хорошем настроении, Бертольд видит это сразу. Несомненно, он их и к рулю пустит, хотя не достигшим восемнадцати лет водить машину воспрещается. Бертольд прямо трепещет: скорее бы выехать на окраину. Но обнаружить свое нетерпение было бы недостойно мужчины. И он ведет с Августом мужской разговор об общем положении вещей, об экономике и политике. Август Франкке и Бертольд отлично понимают друг друга.

Потом Франкке действительно пускает к рулю Курта Баумана, а Бертольд сидит без дела на заднем сиденье, и ему вдруг вспоминается маленький эпизод, связанный с похоронами доктора Гейнциуса. Отец разрешил ему воспользоваться машиной, чтобы поехать на расположенное за городом кладбище. Когда возвращались домой, он посадил к себе в машину Курта Баумана и своего двоюродного брата Генриха Лавенделя. Серый, унылый вид лесного кладбища в Штансдорфе и процедура похорон очень расстроили Бертольда. А товарищи его спустя пять минут после похорон, видимо, больше интересовались машиной, чем покойным, и главным образом тем, пустит ли их шофер Франкке к запретному рулю. Бертольд не понимал, как можно так быстро стряхнуть с себя тяжесть только что пережитого. И даже сейчас, глядя на сидящего за рулем Курта Баумана, он в недоумении задумывается.

Но когда очередь садиться за руль доходит до него, все его тягостные размышления вмиг вылетают из головы, и в нем и вокруг него ничего не остается, кроме уличного движения юго-восточной части Берлина.

На Корнелиусштрассе тем временем ждали господина Жака Лавенделя. Фрау Лизелотта радовалась его приходу. Мартин – она это знала – его недолюбливал. Мартину было неприятно, что младшая сестра его, Клара Опперман, стала женой выходца из Восточной Европы. Жак, несомненно, прекрасный коммерсант, человек с состоянием, знает свет, всегда предупредителен. Но он равнодушен к таким вещам, как достоинство, приличия, выдержка. Нельзя сказать, что у него самого какие-нибудь кричащие, назойливые манеры. Нет. Но он очень уж неприкрыто называет неприятные вещи своими именами, и тихая, приветливая улыбка, которая появляется на его лице, когда при нем заговаривают о чести, достоинстве и прочем, раздражает Мартина.

Лизелотту это не раздражает. Ей нравится шурин. Она выросла в суровой семье Ранцовых. Ее отец был в высоких чинах, но на низком окладе; скудный достаток он возмещал благородством убеждений и суровостью жизненных правил. Лизелотта Ранцов, тогда двадцатидвухлетняя девушка, рада была сменить суровость отцовского дома в Штеттине на широкий образ жизни Опперманов и всеми силами поощряла немногословные и неловкие ухаживания Мартина.

– Подождем Жака с кофе? – спросила она, и улыбка открыла ее крупные, крепкие зубы. Лизелотта видела, что Мартин не знает, как ему говорить с Жаком: с глазу на глаз или в ее присутствии. – У тебя с ним сегодня какой-нибудь важный разговор? – спросила она прямо.

Мартин колебался. Они большие друзья, он и Лизелотта. Разумеется, он сегодня же сообщает ей о решении в двух филиалах переменить фирму. Ему, правда, нелегко говорить с ней об этом. До сих пор ему редко приходилось делиться с ней неприятными новостями. Но пожалуй, разумнее всего все сказать ей, а заодно и Жаку.

– Я был бы очень рад, если бы ты посидела с нами, – сказал он.

И вот между ними – широкая фигура Жака Лавенделя. Умно и приветливо поблескивают из-под широкого лба маленькие, глубоко сидящие глаза, густые, рыжеватые усы контрастируют с уже лысеющей головой, тихий, хриплый голос, как всегда, действует Мартину на нервы.

Жак молча слушает Мартина. Он сидит неподвижно, с полужакрытыми глазами, скрестив руки на животе, склонив голову набок; его застывшее лицо как бы совершенно безучастно.

Мартину было бы приятней, если бы он прерывал его, задавал ему вопросы, но Жак ни разу этого не сделал. Мартин кончил, а он все продолжал молчать. Лизелотта пристально всматривалась в Жака Лавенделя. Она была скорее заинтересована, чем огорчена. Мартин, хотя и довольный, что не очень ее огорчил, все-таки с горечью подумал: «Для нее это пустяки. То, что меня так волнует, для нее пустяки. Работаешь, тратишь силы – и никакой благодарности».

Жак упорно молчал. Наконец Мартин спросил его:

– Каково ваше мнение, Жак?

– Прекрасно, прекрасно, – закивал головой Жак Лавендель. – Я нахожу, что все это прекрасно. Жаль только, что вы еще раньше этого не сделали. И еще более жаль, что вы не довели дело до конца и не договорились с Вельсом.

– Почему? – спросил Мартин. Он старался говорить спокойно. Но и Лизелотта, и Жак уловили в его голосе нотку досады. – Вы полагаете, что мы не успеем? Я эту публику знаю. Вельс обнаглеет, как только мы что-то пообещаем ему. Вам очень хорошо известно, что, выживая, мы только выиграем.

– Может быть, да, а может быть, и нет, – покачал большой рыжей головой Жак Лавендель. – Я не пророк, я отнюдь не хочу утверждать, что я пророк. Но обычно спохватываются, когда уже поздно. Может быть, у нас впереди еще полгода, а может быть, и год. А если нам с вами не повезет, то, может быть, речь идет всего о каких-нибудь двух месяцах. – Он внезапно поднял голову и посмотрел маленькими, глубоко сидящими глазами на Мартина, хитро подмигнул ему и начал рассказывать неожиданно торжественным суховатым тоном: – Семнадцать раз менялась в Гросновицах власть. Семь раз устраивались при этом погромы. Три раза они выводили некоего Хаима Лейбельшица за город и три раза говорили ему: «Ну вот, а теперь мы тебя повесим». Все говорили Хаиму: «Не упорствуй, Хаим, уезжай из Гросновиц». Он не уезжал. И в четвертый раз, когда его вывели за город, они опять его не повесили. Но они его расстреляли.

Жак Лавендель кончил, вновь склонил голову набок и почти совсем закрыл синие глаза.

Мартин знал уже этот анекдот и злился на Жака. Лизелотта тоже слышала его однажды, но с удовольствием выслушала вторично.

Мартин вытащил пенсне, долго и тщательно тер стекла, сунул его обратно.

– Не можем же мы, в конце концов, кинуть ему под ноги наши магазины, – сказал он, и карие глаза его никак нельзя было назвать в эту минуту сонными.

– Конечно, конечно, – успокаивал его Жак Лавендель. – Я же говорю: все, что вы сделали, очень хорошо. Кстати, если вы действительно не прочь привлечь американский капитал, я берусь сделать это в неделю – шито-крыто. И никто к вам после этого носа не сунет. А уж это не значит «кидать под ноги», – улыбнулся он.

Идея перевести мебельную фирму Опперман на имя Жака Лавенделя, который в свое время добыл себе американское подданство, неоднократно обсуждалась. Однако по целому ряду соображений она в конце концов была отвергнута. В данный момент Мартин почему-то не вспомнил ни одного из этих веских доводов. Наоборот, он выбрал наименее веский, но достаточно злой:

– Лавендель – неподходящее имя для наших филиалов.

– Знаю, знаю, – миролюбиво ответил Жак. – Да, насколько мне известно, об этом никогда и речи не было.

Преобразование обоих филиалов в «Немецкую мебель» оказалось не таким простым делом: нужно было обсудить кучу всяких деталей. Жак Лавендель подсказал немало полезных мероприятий. Мартин должен был признаться, что из них двоих Жак проявил большую изобретательность. Он поблагодарил Жака. Жак встал, попрощался долгим, крепким рукопожатием.

– И я благодарю вас от всей души, – с чувством сказала Лизелотта.

– Я ничего в ваших делах не смыслю, – сказала она Мартину после ухода Жака, – но раз уж ты решил принять Вельса в компанию, почему не сделать этого сразу?

Всю первую половину дня Густав Опперман проработал с доктором Клаусом Фришлином. Доктор Клаус Фришлин высок, худ, у него плохой цвет лица и жидкие волосы. Сын состоятельных родителей, он изучал историю искусства и, увлеченный своей работой, мечтал стать доцентом. Но деньги пошли прахом, и он жестоко голодал. Когда же единственным его достоянием оставались потертый костюм, выдавшая виды обувь и рукопись необычайно тщательно разработанной монографии о художнике Теотокопулосе, прозванном Эль Греко, его вытащил из нужды Густав Опперман. Чтобы устроить ему работу, Густав задумал в фирме Опперман художественный отдел и поставил Фришлина во главе его. Неисправимый фантазер, он возмечтал было через посредство Фришлина и фирмы Опперман привить публике вкус к современному стилю: к стальной мебели, обстановке во вкусе «баухаус» и другим новшествам. Но очень скоро, смеясь и досадуя, он вынужден был признать, что художественный отдел под дюжим напором обывательских требований сдается на милость победителя. Клаус Фришлин все еще пытался – упорно, изворотливо, безнадежно – найти лазейку для своего изощренного вкуса. Густава эти попытки забавляли и трогали. Ему нравился этот настойчивый человек, он часто приглашал его к себе в качестве личного секретаря и помощника по своей научной работе.

И в эту среду, как обыкновенно, Густав пригласил Фришлина. Он собирался, собственно, поработать над Лессингом. Но не будет ли это вызовом завистливой судьбе – именно сегодня засесть за любимую работу? И он решил: лучше заняться хронологическим обзором собственной жизни. Ведь только нынче утром он обратил внимание на то, как плохо он ориентируется в собственной биографии. Навести здесь некоторый порядок – вполне подходящая задача в день пятидесятилетия.

Густав был искушенным знатоком биографий различных деятелей восемнадцатого и девятнадцатого столетий. Он умел распознавать решающие моменты в судьбах этих людей. Но удивительно, как трудно отличить существенное от несущественного, когда дело касается собственной жизни. А ведь немало было сильных переживаний, своих и чужих: была война, была революция. Что же, в конце концов, изменило его? С грустью почувствовал он, как много растерял. Эти мысли привели его в дурное настроение.

Он вдруг резко оборвал их. Улыбнулся.

– Возьмите открытку, милый Фришлин, – сказал он. – Я вам продиктую текст. – Он стал диктовать: – «Милостивый государь. Запомните на остаток дней ваших: „Нам положено трудиться, но нам не дано завершать труды наши“. Искренне преданный вам Густав Опперман».

– Хорошие слова, – заметил Клаус Фришлин.

– Не правда ли? – сказал Густав. – Это из Талмуда.

– Кому адресовать открытку? – спросил Фришлин.

Густав Опперман улыбнулся по-мальчишески плутовато.

– Пишите, – сказал, – «Д-ру Густаву Опперману, Берлин-Далем, Макс-Регерштрассе, 8».

Если не считать написанной открытки, утро прошло неплодотворно, и Густав был доволен, когда подвернулась уважительная причина прервать работу. Причина эта явилась в лице прелестной Сибиллы Раух, его подруги. Да, это она, Сибилла Раух, подкатила на своей маленькой, смешной, разбитой машине. Густав сошел вниз встречать гостью. Не смущаясь присутствием слуги Шлютера, открывавшего ворота, она поднялась на цыпочки и прохладными губами поцеловала Густава в лоб. Сделать это было не так просто, так как под мышкой у нее был зажат большой пакет – подарок Густаву ко дню рождения.

Подарок оказался старинными часами. Над циферблатом был глаз, так называемый глаз божий, ежесекундно двигавшийся слева направо, слева направо. Густав давно уже собирался поставить в своем рабочем кабинете такие часы, как постоянное напоминание ему, несколько

разбросанному человеку, о необходимости порядка в работе. Но ему не попадались часы с подходящим к общему тону комнаты корпусом.

Он рад, что Сибилла нашла как раз то, что нужно. Он благодарит ее шумно, сердечно, любезно. Но в глубине души он немножко задет. Это неугомонное око, которое должно надзирать за ним, – нет ли здесь элемента критики? Густав гонит от себя неприятное ощущение, не дает ему стать мыслью. Он без умолку говорит, сердечно, радостно. Но подарок Сибиллы невольно расшевелил в нем обычно дремлющее чувство, которому он никогда не дает воли. Сибилла, вопреки доброму желанию их обоих всецело принадлежать друг другу, всегда остается на периферии его существования.

Она стоит перед портретом старика Оппермана. Она знает, как он дорог Густаву, радуется, что портрет наконец здесь; тоном знатока говорит о том, как он хорошо сочетается со всей обстановкой кабинета. По свойственной ей манере она тщательно, как бы взвешивая, всматривается в изображение хитрого, довольного, счастливого человека.

Все это как нельзя лучше гармонирует: оригинал, художник и эпоха. И все это очень на месте здесь.

– А интересно, каково бы жилось такому Эммануилу Опперману в наше время? – произносит она в раздумье.

В сущности, толковое и уместное замечание. Стоило призадуматься над тем, как в наши дни утверждал бы свое существование человек склада Эммануила Оппермана. Однако и это замечание Сибиллы кольнуло Густава.

Да, эпоха, в которую жил Эммануил Опперман, канула в вечность, хотя для Густава она была еще живой. Какими мелкими казались теперь все ее заботы, какими простыми ее проблемы, как медленно, незатейливо, скучно текла жизнь такого человека, как Эммануил Опперман, по сравнению с жизнью среднего человека наших дней. Конечно, в замечании Сибиллы не было ничего обидного, ведь она прямо-таки оторваться не может от портрета. И все-таки Густаву, без всякого на то основания, кажется, что замечание Сибиллы направлено против него. Часы тикали, «глаз божий» катился слева направо и поглядывал, как люди проводят свое время. Сибилла стояла перед портретом покойного. Густава вновь охватило томление праздности, то легкое, неприятное чувство неудовлетворенности, то ощущение пустоты, которое мелькнуло у него сегодня утром.

Он обрадовался, когда Шлютер доложил, что обед подан. Обед прошел весело. Густав Опперман кое-что смыслил в хорошей кухне. Сибилла Раух веселила его забавными шутками, для которых всегда находила неожиданную, изящную форму. Густаву очень нравился ее южно-германский говор. Ему было пятьдесят лет, и он был очень молод. Он сиял.

Радость его достигла полноты, когда к десерту подоспел его друг, профессор Артур Мюльгейм, а с ним Фридрих Вильгельм Гутветтер – новеллист. Оба они удачно дополняли Сибиллу и Густава.

Артур Мюльгейм – вертлявый человечек, с веселым, умным лицом, испещренным морщинами складок и морщинок. Всего на несколько лет старше Густава, неугомонный, всегда с готовой шуткой на устах, один из лучших юристов Берлина, он во многом сходился с Густавом. Они состояли членами одного и того же клуба, им нравились одни и те же книги, женщины. Артур Мюльгейм интересовался, кроме того, политикой, а Густав Опперман спортом, так что у них всегда был избыток тем друг для друга. Мюльгейм прислал Густаву ассортимент отменных пятидесятилетних коньяков и водок. Он считал полезным для здоровья употреблять те напитки, которые по своим годам соответствуют возрасту пьющего.

Шестидесятилетний Гутветтер, миниатюрный, с огромными детскими глазами на тихом лице, очень выхоленный, в подчеркнута старомодной одежде, был поэтом. Он писал маленькие, тщательно отшлифованные новеллы, которые превозносились критикой, но которые мало кто читал и умел оценить. В редкие мгновения, когда Густава царяла суетливая пустота соб-

ственной жизни, он говорил себе, что прожил жизнь не напрасно, хотя бы потому, что помог Гутветтеру. И действительно, без поддержки Густава Гутветтеру пришлось бы терпеть жесточайшие лишения.

Фридрих Вильгельм Гутветтер сидел тихий и ласковый и большими глазами с обожанием и вожделением поглядывал на Сибиллу. Он то и дело просил объяснить ему приткие остроты Мюльгейма и время от времени вставлял медлительные замечания общепозитического порядка в громкую, веселую беседу друзей.

Он припас подарок для своего друга, но заговорил о нем лишь через двадцать – тридцать минут после прихода: оживленная застольная беседа и присутствие Сибиллы заставили его забыть о подарке. Итак, у него был разговор с доктором Дорпманом, его издателем, директором издательства «Минерва». Он говорил с ним о биографии Лессинга. Доктор Дорпман, по обычной манере издателей, старался увильнуть от прямого ответа, но он, Гутветтер, не отступал. Одним словом, верно, как смерть, душа и воскресение, что «Минерва» издаст биографию Лессинга. Все это он изложил спокойно, не повышая голоса, устремив на своего друга ласковый взор.

– А что значит: «верно, как душа и воскресение»? – спросил Мюльгейм. – На сто процентов верно или, наоборот, на сто процентов неверно?

– Я хотел сказать: верно, и больше ничего, – ответил Гутветтер с непоколебимой ласковостью.

Но им не удалось договориться, ибо Густав шумно вскочил, схватил тихого Гутветтера за плечи, стал трясти его и хлопать по спине, бурно выражая свою радость.

Когда же Гутветтер остался наедине с Сибиллой, он сказал ей обычным своим спокойным, ласковым, чистосердечным голосом:

– Как легко сделать человека счастливым. Биография. Что такое биография? Разве что-нибудь может идти в счет, кроме самостоятельного творчества? Но вот человек копается в отбросах, в так называемой действительности, в отжившем, – и счастлив. Какой ребенок друг наш Густав.

Сибилла задумчиво взглянула в большие, лучистые детские глаза. Фридрих Вильгельм Гутветтер считался одним из лучших немецких стилистов; многие считали его лучшим. Сибилла, которая добросовестно билась над своими маленькими рассказами, попросила у него совета относительно одной не дававшейся ей фразы. Гутветтер дал ей ценные указания. Он не сводил лучистого, обожающего взгляда со своей смышленной ученицы.

Густав между тем, до краев преисполненный радостью, находил мир великолепным, всем хотел сделать что-нибудь хорошее. Многословно поделился радостной вестью, которую принес ему Фридрих Вильгельм Гутветтер, со слугой Шлютером. Был счастлив.

Когда начали съезжаться гости и завязались первые натянутые разговоры, Густав стал опасаться, что вечер будет скучным. Было, конечно, рискованно сводить вместе таких разных людей, но он любил в своей жизни именно это органическое смешение разнородных элементов. Он задумал собрать в день своего пятидесятилетия всех, кто играл какую-нибудь роль в его жизни: родных, старых служащих фирмы, друзей из Общества библиофилов, из театрального клуба, из спортивного ферейна, любимых женщин. После ужина он с удовольствием отметил, что легкие вкусные блюда изысканного меню развязали языки и прежняя натянутость исчезла.

Гости – человек двадцать – оживленно болтали, расположившись группами, но так, что ни одна из них не обособлялась от остальных. Говорили о политике – это, к сожалению, стало неизбежной темой. Непринужденней всех держал себя, как всегда, Жак Лавендель. Лениво рассевшись в самом удобном кресле, полузакрыв хитрые, добродушные глаза, он с иронической терпимостью слушал Карла-Теодора Гинце, который огулом разделявал всех нацистов. По мнению Гинце, все сторонники «движения» были либо дураками, либо жуликами.

В улыбке, бродившей по широкому лицу Жака Лавенделя, сквозила раздражающая снисходительность.

– Вы несправедливы к этим людям, дорогой господин Гинце, – сказал он приветливым, хрипловатым голосом, покачивая головой. – Сила этой клики как раз в том, что она пренебрегает разумом и обращается к инстинкту. Нужны сметливость и сила воли, чтобы проводить подобную линию с такой последовательностью. Господа эти, как все хорошие дельцы, отлично знают свою клиентуру. Товар у них плохой, но ходкий. А пропаганда – первый класс, скажу я вам. Вы недооцениваете фюрера, господин Гинце. Фирма Опперман могла бы радоваться, заполучи она такого заведующего для отдела рекламы.

Господин Жак Лавендель говорил негромко, и все же его хрипловатый голос почти без всяких усилий заставлял себя слушать. Но соглашаться с тем, что говорил этот голос, никто не хотел. Здесь, в культурной обстановке дома Густава Оппермана, никто не склонен был признать за такой нелепой штукой, как фашизм, какие-либо виды на успех. Книги Густава Оппермана стояли вдоль стен; обе комнаты – библиотека и рабочий кабинет – красиво переходили одна в другую; с портрета Эммануила Оппермана до осязаемости живо смотрели на собравшихся хитрые, добродушные глаза. Вооруженные знанием своего времени, насыщенные культурой столетий, имея за собой внушительные текущие счета в банке, люди эти крепко стояли на земле. Они улыбались при мысли, что прирученное домашнее животное – мелкий буржуа – грозит вернуться к своей волчьей природе.

Юркий Зигфрид Бригер рассказывал анекдоты о фюрере и возглавляемом им «движении». Фюрер вовсе не немец, а австриец, и вся его деятельность не что иное, как месть Австрии за поражение, нанесенное ей Германией в 1866 году. Мыслимо ли вообще юридически узаконить антисемитизм? Каким образом установить, кто еврей, а кто не еврей?

– Меня бы они, конечно, сразу узнали, – добродушно сказал Бригер, показывая на свой длинный нос. – Но разве большинство немецких евреев не ассимилировались настолько, что лишь от их доброй воли зависит, признать или не признать себя евреями? Кстати, слышали ли вы анекдот о старом банкире Дессауере? Господину Дессауеру фамилия его кажется чересчур еврейской. Он меняет ее: отныне он не Дессауер, а Дессуар. Господин Кон встречает его в трамвае: «Здравствуйте, господин Дессауер», – говорит он. Но господин Дессауер в ответ: «Виноват, господин Кон: моя фамилия теперь Дессуар». – «Простите, господин Дессуар», – говорит господин Кон. Через две минуты он снова называет его господином Дессауером. «Извините: Дессуар», – энергично поправляет господина Кона господин Дессауер. «Простите, простите», – извиняется господин Кон. Оба сходят с трамвая. Пройдя несколько шагов, господин Кон спрашивает: «Не скажете ли вы мне, господин Дессуар, где здесь ближайший писсауер?»

Жаку Лавенделю анекдот доставил истинное удовольствие. Поэт Фридрих Вильгельм Гутветтер анекдота сначала не понял, попросил повторить: лишь тогда его тихое лицо озарилось веселой улыбкой.

– Кстати, господин этот, – он указал на Жака Лавенделя, – в неприятязательной форме выразил то, что зреет в человеке наших широт. Господство трезвого рассудка рушится. Отваливается грубая облицовка логики. Брезжит новая эпоха, когда великое животное, человек, с его сверхдносторонним развитием, снова найдет путь к самому себе. Вот смысл националистского движения. Разве все мы не счастливы быть свидетелями этого? – Фридрих Вильгельм Гутветтер спокойно переводил по кругу взгляд лучистых детских глаз; огромный галстук скрывал вырез его жилета; в своем старинном наряде Гутветтер казался отрешенным от мира священнослужителем.

Гости улыбались. Поэт мыслил масштабами тысячелетий. А им приходилось ограничивать себя более короткими сроками – годами, месяцами; фашизм представлялся им лишь грубой демагогией, поощряемой милитаристами и феодалами, спекулирующей на темных инстинктах мелкого буржуа. Так воспринимал его профессор Мюльгейм, остривший над ним

умно и цинично, так при всей своей осмотрительности благоразумных дельцов воспринимали его Опперманы; так воспринимали его дамы – Каролина Тейсс и Эллен Розендорф. Беседа текла мирно, пока один из гостей не нарушил приятное настроение вечера, переведя, к общей досаде, на трезвый язык будней то, что Жак Лавендель высказывал с добродушной оглядкой, а Фридрих Вильгельм Гутветтер – в поэтических абстракциях. Семнадцатилетнюю Рут Опперман, которая весь вечер сидела молча, вдруг прорвало:

– У вас у всех замечательные теории, вы так умно все объясняете, вы все решительно знаете. А те не знают ничего; пусть их теории глупы и противоречивы – им на это наплевать, зато они знают твердо, чего хотят. Они действуют. И я говорю тебе, дядя Жак, и тебе, дядя Мартин: они свое сделают, а вы останетесь на бобах. – Она стояла среди гостей, неуклюжий подросток; синее платье некрасиво висело на ней: ее мать Гина Опперман не умела ее одевать; черные волосы Рут казались растрепанными, несмотря на тщательную завивку. Но большие глаза на смуглом лице девушки смотрели горячо, решительно, и речь ее была далеко не детской.

Разговоры прекратились, и когда Рут умолкла, в комнате стояла глубокая тишина. Слышно было звонкое тиканье часов; невольно все повернули головы: «глаз божий» перекатылся слева направо, слева направо. Профессор Эдгар Опперман, медик, улыбался чуть иронически, но он был горд своей необузданной дочерью. Гина Опперман, маленькая незаметная женщина, с восхищением смотрела на дочь. Рут вся в отца: когда-нибудь она станет знаменитостью, как и он, прославленный врач. Она совсем не похожа на окружающих девушек. Ее интересуют только две вещи: политика и медицина. Она сионистка и уже сносно говорит древнееврейски. Собирается учиться в Берлине, в Лондоне, в Иерусалиме, а когда станет врачом, поселится в Палестине.

Густав Опперман не нарадуется на свою племянницу Рут. Часто он благодушно подшучивает над ее сионизмом, но, по его мнению, это хорошо, что в семье имеется и такая разновидность. Если бы не было горячности Рут, ее напористости, не хватало бы чего-то очень существенного. Ее фанатизм делает ее просто красивой. А подобные выходки простительны по молодости.

Хорошенькую, белокурую, остроносую Каролину Тейсс позабавила пылкая некрасивая девушка. Но Эллен Розендорф даже не улыбнулась. Пестрое общество собрал сегодня Густав Опперман. Эллен Розендорф, высокая, стройная, смуглокожая, с удлинёнными глазами, знает Густава по теннисному клубу «Красное и белое». Она любит общество, спорт, флирт; контрастное сочетание снобизма и библейской внешности придает ей особую пикантность. У нее острый язык, она мастерица отпускать злые шутки. Она из числа тех молодых еврейских женщин, с которыми флиртует кронпринц; весь город облетело замечание, сделанное ею кронпринцу, когда машина, которой он правил, едва не разбилась: «Правьте осторожней, monsieur! Вообразите себе картину: мы лежим под разбитой машиной – сплошное неразличимое месиво. И – о ужас! – еврейские кости могли бы попасть в потсдамский мавзолей, а гогенцоллерновские – на еврейское кладбище Вайсензее». Она и с Густавом почти никогда не изменяла этому тону; они обычно болтали о тысяче пустяков, о которых говорят богатые досужие берлинцы. И только. И все же: их связывает нечто большее, чем мимолетное влечение. Он знает, что ее снобизм – защитная маска, на самом же деле она меланхолик, терзаемый суетной пустотой своего существования. И она чувствует в нем, в Густаве, родственные черты, только гораздо более скрытые, в которых он сам себе не хочет признаться. Эллен смотрит на Рут Опперман, не улыбаясь, с любопытством. Превратить Рут в светскую барышню было бы при желании нетрудно, но попытка из берлинской барышни сделать такую Рут Опперман почти во всех случаях потерпела бы неудачу.

Профессор Эдгар Опперман, медик, беседует с господином Франсуа, директором гимназии королевы Луизы. Темно-русый Эдгар, несколько грузный, как все Опперманы, но вместе с тем очень подвижный, высмеивает нелепую произвольность всех расовых теорий. Сколько

проделано исследований крови, измерений черепа, исследований свойств волос – и все безрезультатно. Эдгар Опперман говорит живо, без тени профессорского менторства, много и быстро жестикулируя; руки у него легкие, не такие мясистые, как у других Опперманов, руки выдающегося хирурга.

– Я никогда не замечал, – заключил он, улыбаясь, – чтобы гортань так называемого арийца иначе реагировала на определенные раздражения, чем гортань семита.

Сам он не был ни евреем, ни христианином, ни семитом, ни арийцем. Он был ларингологом, ученым, настолько верящим в науку, что у него не оставалось даже презрения, гнева или сострадания к авторам и последователям расовой теории.

Директор Франсуа горячо с ним соглашался. И он в первую голову ученый, филолог. Страстный любитель немецкой литературы, давнишний член Общества библиофилов, он был в близких, приятельских отношениях с Густавом Опперманом. Человеческая природа, утверждал он, на протяжении всей истории нисколько не изменилась. Взять, например, движение Катилины. Поразительно, до чего оно даже внешне походит на фашистское движение. Те же приемы: хоровая декламация, подстрекательские речи, бессовестная демагогия, самое низкопробное невежество.

– Будем надеяться, что и среди нас найдется вскоре свой Цицерон, – заключил директор Франсуа. Худощавый господин Франсуа – нежно-розовые щеки, очки без оправы, белые, густые, холеные усы – говорил гладко, как по писаному, не слишком медленно, не слишком быстро, закругленными фразами. Несомненно, общество книг на полках Густава улыбалось ему больше, чем общество окружающих людей. Но чаще, чем на книжные полки, косился он на дородную, пышную даму в темном шелковом платье. Это его жена. Он находится под строгим наблюдением: если фрау Эмилия Франсуа на миг потеряет его из виду, то уже в следующее мгновение безусловно отыщет.

Нелегко ей с мужем. Он не знает удержу, что на уме, то и на языке. Правда, на политическом горизонте сейчас все как будто утихомирилось. Среди сослуживцев мужа достаточно карьеристов, у которых повсюду свои внимательные уши; они тщательно хранят до поры до времени каждое на лету подхваченное слово. И если нацисты придут к власти, то такое неосторожно сказанное теперь слово может лишить человека хлеба и работы. Что тогда будет с нею и ее тремя детьми? За его исследование «О влиянии античного гекзаметра на слог Клопштока» никто не даст ему и корки хлеба. Но легкомысленный человек глух к ее предостережениям. Он уверяет, что за одни слова тянуть к ответу не станут и потому бояться нечего. Когда же она начинает толковать ему, что в нынешнее время нечего рассчитывать на справедливость, и при этом несколько повышает тон, он страдальчески возводит глаза к небу и кротко молчит. «Грозовая тучка» – называет он жену. Ах! он не понимает, что она тревожится только за него: в практических вещах он ведь совершенно ничего не смыслит. Фрау Эмилия поджимает губы, лицо у нее темнеет. Господин Франсуа косится в ее сторону и, оробев, отводит взгляд. «Грозовая тучка», – думает он.

Франсуа занимает пост директора гимназии, в седьмом классе которой учится сын Мартина Бертольд. Мартин подходит к Франсуа. Ему известны либеральные взгляды Франсуа, он знает, что это человек, с которым можно говорить. Да, соглашается с ним Франсуа: в большинстве гимназий ученикам-евреям приходится теперь нелегко. Но пока ему удавалось оградить свое учебное заведение от политики. Теперь, правда, к нему хотят посадить одного преподавателя из Тильзита, которого он несколько побаивается. Тут он осекся под взглядом фрау Франсуа, которая, впрочем, вряд ли могла его слышать.

Жак Лавендель продолжал между тем развивать перед женой и перед невесткой Лизелоттой свою теорию. Клара, как все Опперманы, широкая, коренастая. Большая темно-русая голова с тяжелым лбом производит впечатление собранности, властности, рассудительности. В свое время, когда она вздумала выходить за Жака Лавенделя, все ее отговаривали. Но она

настояла на своем. Как раз то, что другим казалось признаком дурных манер, независимость, с которой Жак говорил вещи, подсказанные ему здравым смыслом, его добродушная хитрость, – все в нем привлекало ее. Она говорила мало, но у нее на все были свои взгляды, и в нужный момент она проводила их в жизнь. Молча, одобрительно улыбаясь, слушает она то, что говорит Жак ей и Лизелотте. Всякое опасное политическое движение развивается на глазах у всех годами, а бывает, что и десятилетиями, и никогда никто вовремя не делал необходимых выводов. Изучая историю, он всегда изумлялся, как поздно люди, которых это касалось, начинали думать о спасении. Почему, черт возьми, многие французские аристократы так глупо дали революции застигнуть себя врасплох, когда каждому школьнику теперь известно, что уже по произведениям Руссо и Вольтера, за десятки лет до того, как революция разразилась, ее можно было совершенно точно предвидеть?

Мартин Опперман смотрел на обеих женщин, внимательно, с интересом слушавших Жака. Большое лицо Лизелотты с удлинёнными серыми глазами рядом с массивной широкой головой ее золовки казалось особенно светлым. Какая она свежая, цветущая и какой молодой кажется ее белая шея в небольшом вырезе черного платья. Она мельком улыбнулась ему, сверкнув крупными зубами, и тут же опять повернулась к Жаку Лавенделю. Мартин немного ревновал ее к шурина. В том, как она относилась к Жаку, он видел безмолвный укор себе, Мартину. Он знает силу этих восточных евреев, их безудержную жадность к жизни. Разумеется, это положительное качество. Но неужели ее не отталкивает хриплый голос Жака, его напористость? Хрипота у него с войны: пулей задело горло. Прискорбно, что и говорить, но симпатичнее от этого Жак не стал. По крайней мере ему, Мартину. Но хорошо, конечно, что Жак приятен Лизелотте, хуже было бы, если бы он внушал ей отвращение. Вряд ли найдется более удачный брак, чем его, Мартина, с Лизелоттой. Может быть, потому, что он так строго держится правила не смешивать личную жизнь и дела. На Корнелиусштрассе он не говорит о Гертраудтенштрассе. Почему Лизелотту должен занимать вопрос, за сколько марок он продает стул: за тридцать шесть или же за сорок три? А все-таки досадно, что она этим не интересуется. Хорошо, конечно, что она так спокойно отнеслась к преобразованию оппермановских филиалов в фирму «Немецкая мебель». Но и чуть-чуть досадно.

Эдгар тоже проявил равнодушие. Густава это заденет сильнее, чем Эдгара, Жака, Лизелотту. Счастье, что у Густава столько других интересов, которые его отвлекают. Густав действительно очень славный. Несомненно, он пригласил обоих доверенных фирмы, чтобы сделать ему, Мартину, приятное. Густаву все легко дается: он счастливеец.

Мартин рад его благополучию. От души рад он удачливости и славе Эдгара. Но не всем такая удача. Ладно. Пусть он, Мартин, будет тот, кому досталась более трудная доля. Он вытаскивает пенсне, долго и тщательно протирает стекла, сует его обратно. Потом, подчиняясь внезапному порыву, подходит к Густаву, легко касается его руки и ведет его к Кларе и Жаку Лавенделю. Точно так же он ведет к ним Эдгара.

И вот они сидят все вместе, все семейство Опперман, сидят широко, прочно. Время бурное, оно не раз уже грозило смять их, но они выдержат: у них хватит устойчивости. Они и портрет старого Эммануила – одно, им не приходится краснеть перед этим портретом, и его краски из-за них не поблекнут. Они завоевали себе в этой стране место, хорошее место, но и заплатили за него хорошо. Они сидят прочно, довольные, уверенные.

Гости замечают семейную группу, отходят в сторону, и семья Опперман остается в своем кругу.

Подчеркнутый семейный характер этой сцены особенно понравился доверенному Бригеру. Он вообще любил солидарность во всех ее проявлениях. «Держаться друг за друга, – говорит он профессору Мюльгейму, – это самое главное. Мы, евреи, к счастью, держимся друг за друга. Как обезьяны. Поэтому нам ничто не страшно. Пусть нас сотни раз сбрасывают с дерева, один кто-нибудь взберется снова, а остальные, как обезьяны, уцепятся за его хвост, и тот, кто

наверху, вытянет остальных». Фрау Эмилия Франсуа от всего сердца завидует женской половине оппермановской семьи и восхищается семейственностью ее мужской половины. Никто из мужчин Опперманов не станет бросаться неосторожными словами и подвергать опасности жену и детей. Рут Опперман большими требовательными глазами смотрит на дядю Густава; человека, который так ясно чувствует свою связь с семьей, она сумеет в конце концов ввести в ту более обширную семью, к которой он принадлежит по рождению.

И Сибилла Раух оглядывает семейную группу Опперманов. Тонкая и решительная, она смотрит на них исподлобья, зло, упрямо светятся ее глаза из-под высокого своевольного детского лба; никто бы не сказал теперь, что портрет Андре Грейда – карикатура. Странная мысль взбрела в голову Густаву – изобразить перед гостями трогательную семейную сцену. Сентименты. Мещанство. Он молод для своих лет, он хорошо сохранился, он любит ее, и она расположена к нему. Он помогает ей, он многое понимает в ее делах, она едва представляет себе, что бы она без него делала. Но теперь она видит, что он, в сущности, старый сентиментальный еврей. Она смотрит на Фридриха-Вильгельма Гутветтера, сравнивает. Густав в десять раз умнее, он куда лучше Гутветтера знает жизнь. Но большеглазый поэт, смешной и трогательный в своем старомодном наряде, весь как на ладони. В Густаве же все сложно, перепутано, одно на другом. Тут и семья, и наука, и спорт, и влечение к ней, Сибилле, и, где-то далеко, необыкновенная любовь к Анне. Где же настоящий Густав?

А Густав был совершенно счастлив. Он выпил не слишком много – он никогда не переходил определенной границы, – но достаточно, чтобы почувствовать подъем. Жаль, что другим не видно, как он вполне, безоговорочно счастлив. Радость, которую ему доставляют женщины, друзья, родные, дом, эту радость может, в сущности, понять каждый. Радость, которую ему приносят книги или же работа над Лессингом, могут понять немногие. Счастье же сочетать в своей жизни и то и другое, обладать и тем и другим понятно разве только Мюльгейму и Франсуа.

Но пусть лишь немногие понимают его счастье, он, со своей стороны, сделает все, чтобы его гости были возможно счастливее. И он решает угостить их коньяком Мюльгейма, коньяком 1882 года, года своего рождения.

Шлютер принес бутылку – огромную бутылку – и большие пузатые рюмки. Но так просто пить не стали. Доверенный Карл-Теодор Гинце придерживался традиции: позорно было бы такую драгоценную влагу, как этот ароматный старый французский коньяк, попросту влить в себя без нескольких приличествующих случаю слов. В наступившей тишине он скрипучим голосом, словно на учебном плацу, возглашает тост. В цветистых выражениях желает семье и фирме Опперман на долгие годы такого же процветания и благоденствия, так сказать, «просперити», в каком все видят их в настоящий момент. И только тогда гости выпили.

Сибилла Раух уехала вместе со всеми. По обыкновению, острили над ее маленьким разбитым автомобилем. Когда остальные машины скрылись из виду, она повернула назад. Она обещала Густаву побыть с ним немного вдвоем.

В комнатах было накурено, Шлютер и Берта пошли спать, приглашенная на этот вечер прислуга разошлась. Сибилла и Густав вышли в сад. Было очень холодно, луну заволокло туманной дымкой. Сосны Груневальда стояли недвижно и тихо. Сибиллу неприятно поразила перемена пейзажа. Густаву же он при всех переменах был мил.

Его пробирала дрожь. Они вернулись в комнаты, легли в постель. Густав лежал усталый, счастливый, чувствуя на своей груди узкую продолговатую голову Сибиллы. Зевая, он в четвертый раз повторял с удовлетворением, как он рад, что благодаря договору на биографию Лессинга у него будет работа на предстоящий год.

Сибилла не спала. Она собиралась вернуться домой до рассвета, засыпать не стоило. Безжалостными, любопытными, чужими глазами разглядывала она спящего рядом человека. Так

он действительно внушил себе, что биография Лессинга какая-то «задача»? Эта биография разрастется в толстый том. А у Фридриха-Вильгельма Гутветтера есть тоненький томик: «Перспективы белой цивилизации». Сибилла Раух презрительно выпятила нижнюю губу, – ребенок, невоспитанный ребенок.

Она встала и, поеживаясь от холода, бесшумно оделась. Густав спал.

Она прошла в кабинет: там оставалась ее сумка. На письменном столе лежал ворох испи-санной бумаги. Сибилла была любопытна. Она стала рыться в нем. Нашла открытку: «Мило-стивый государь. Запомните на остаток дней ваших: „Нам дано трудиться, но не дано завершать труды наши“. Искренне преданный вам Густав Опперман». Сибилла посмотрела на адрес и на подпись и, улыбаясь, вторично прочитала открытку. Ее друг, Густав Опперман, был забавный человек, он знал много хороших истин. Она снова тщательно разбросала бумаги, чтобы они лежали в том же беспорядке, что и раньше.

Холодной ночью она возвращалась домой в своем маленьком открытом плохоньком авто-мобиле. Ее друг Густав – баловень жизни, несомненно. Достаточно было поглядеть сегодня вечером на устроенную им выставку всего того, что делало его богатым и счастливым. Сибилла Раух была умная и скептически настроенная девушка. Она не щадила и себя самое, не пере-оценивала своего таланта. Она знала, что ее маленькие, изящные рассказы сделаны тщатель-нее, чем рядовая продукция. Она относилась к своей работе серьезно, и у нее было свое лицо. Но она лелеяла тайную мечту – написать крупную вещь, большое полотно, зеркало времени, роман. «Нам дано трудиться, но не дано завершать труды наши». Заметьте это себе, сударыня. Помни об этом, Сибилла.

Ее друг Густав, вероятно, доведет до конца биографию Лессинга. Она улыбнулась без-молвно и зло. Она не завидовала ему.

В седьмом классе гимназии королевы Луизы во время пятиминутной перемены между уроками математики и немецкого шли возбужденные толки. Министерство наконец твердо наметило педагога, который заменит трагически погибшего доктора Гейнциуса; оно оконча-тельно остановило свой выбор на докторе Бернде Фогельзанге, бывшем преподавателе тильзит-ской гимназии, том самом, о котором на вечере у Густава Оппермана директор гимназии Фран-суа сказал, что он его немножко побаивается. Гимназистам не терпелось увидеть своего нового наставника. Для каждого в отдельности очень много зависело от того, что за птица этот новень-кий. Вообще говоря, берлинской молодежи с провинциальным преподавателем одно удоволь-ствие. Она заранее чувствует свое превосходство над ним. Ну что, в самом деле, видал на своем веку этот тильзитский житель? Разве есть там у них такой Спортпалас, метро, стадион, Тем-пельгофский аэропорт, Луна-парк, Фридрихштрассе? До мальчиков, кроме того, дошли слухи, что от доктора Фогельзанга пахнет национализмом. А в гимназии королевы Луизы, при либеральном, мягком директоре Франсуа, национализм был не в чести.

Гимназист Курт Бауман в сотый раз рассказывал случай, который произошел в гимназии кайзера Фридриха. Там гимназисты ловко показали Шультесу, их классному наставнику, где раки зимуют. Как только он начинал нести свой вздор, они, плотно сжав губы, принимались гудеть. Они упражнялись целыми днями и довели свое искусство до такого совершенства, что мощное гудение покрывало голос учителя, а по их лицам ничего нельзя было заметить. Сначала наставник Шультес полагал, что мимо летит аэроплан. Его старательно в этом мнении поддер-живали. Но так как аэроплан неизменно появлялся как раз в те минуты, когда из уст учителя лился мед национал-социалистских речей, Шультес почуял неладное. Ребята держались сплю-сненно. Усердно доискивались причины, терялись в догадках. Может быть, это отопление, или водопровод, или рабочие в подвале? Господина учителя заставили повернуться. Он был нерв-ный и чувствительный, этот национал-социалист Шультес, их классный наставник. Когда гуде-ние послышалось в четвертый раз, Шультес повернулся лицом к стене и заплакал. Вмешался

педагогический совет, началось расследование, и ученики-националисты, конечно, предали товарищей. Зачинщиков наказали. Так или иначе, а ребята из гимназии кайзера Фридриха кое-чего добились. В общем, этот метод может пригодиться и в гимназии королевы Луизы, если тильзитский господин вздумает к кому-нибудь придраться.

Генрих Лавендель заявил, что этот метод никуда не годится. Коренастый, светлоглазый, он, сидя на своей парте, ловким гимнастическим движением попеременно выбрасывал то одну, то другую ногу. Сравнительно небольшого роста, Генрих Лавендель казался все же гораздо крепче своих товарищей. Почти все мальчики отличались бледностью, от них веяло спертым комнатным воздухом, – у него же был загорелый, свежий вид: в свободное время он всегда занимался спортом под открытым небом. Внимательно глядя на свои мелькающие ноги, Генрих рассудительно сказал:

– Нет, это никуда не годится. Раз-другой сойдет, а на третий непременно накроют.

– А что же годится? – спросил Курт Бауман, слегка задетый.

Генрих Лавендель перестал болтать ногами, оглянулся по сторонам, открыл очень красные губы и, пожав широкими плечами, бросил:

– Пассивное сопротивление, чужак. Единственно путная штука.

Задумчиво посмотрел Бертольд на своего двоюродного брата Генриха Лавенделя. Ему легко говорить. Во-первых, он американец – у него еще и сейчас нет-нет да проскользнет английское слово, запечатлевшееся в памяти с раннего детства, – а во-вторых, он незаменимый вратарь футбольной команды восьмого класса. Двух этих фактов достаточно, чтобы произвести впечатление на учителя-националиста. У него, Бертольда, положение сложнее. Не только потому, что новый учитель будет преподавать его любимые предметы – немецкий и историю, – а главным образом потому, что от этого нового учителя зависит, разрешат ли ему, Бертольду, сделать облюбованный им доклад «Гуманизм и двадцатый век».

Около Вернера Риттерштега собралась небольшая группа, человек пять-шесть. Это националисты седьмого класса. До сих пор им туго приходилось, теперь для них восходит заря. Они сбились в кучку. Перешептывание. Смешки. Многозначительные мины. Преподаватель Фогельзанг входит в президиум имперского союза «Молодые орлы». Это большое дело. «Молодые орлы» – тайный союз молодежи, окруженный атмосферой таинственности и приключений. Там пьют кровавый брудершафт, там существует тайное судилище: жестокая кара ждет каждого, кто выдаст хоть самое незначительное его решение. Все вместе ужасно увлекательно. Фогельзанг безусловно проведет в союз кого-нибудь из класса.

А сам доктор Бернд Фогельзанг сидит между тем в кабинете директора Франсуа. Он сидит прямо, выпятив грудь, уперев красные, покрытые рыжим пушком руки в ляжки, твердо уставившись бледно-голубыми глазами в Франсуа, стараясь обойтись наименьшим количеством резких движений. Директор Франсуа невольно ищет глазами саблю на бедре нового учителя. Бернд Фогельзанг невысок ростом, но этот ущерб он восполняет удвоенной молодцеватостью. Лыняные усики отделяют верхнюю часть лица от нижней, длинный шрам рассекает надвое правую щеку, прямой пробор делит волосы.

Уже два дня тому назад, когда Бернд Фогельзанг представился директору Франсуа, он вынес неблагоприятное впечатление от этой гимназии. То, что он успел увидеть, подтверждало его самые мрачные предчувствия. Из персонала ему понравился лишь педель Меллентин. Педель стоял навтыжку перед новым преподавателем.

– Служили? – спросил его Бернд Фогельзанг.

– В девяносто четвертом полку. Трижды ранен, – ответил педель Меллентин.

– Очень хорошо, – похвалил Фогельзанг.

Но пока это был единственный плюс. По вине этой вот шляпы, по вине директора Франсуа, все учебное заведение идет к чертям собачьим. Хорошо, что теперь наконец появился он, Бернд Фогельзанг, он уж наведет в этой лавочке порядок.

Директор Франсуа приветливо улыбался ему из-под густых белых усов. Фрау Эмилия наказала ему быть осторожным с новым преподавателем и установить с ним хорошие отношения. Нельзя сказать, что это легкая задача для господина Франсуа. Отрывистая речь нового учителя, бедный, рубленый и вместе с тем напыщенный язык, избитый словарь газетных пере- довиц были глубоко противны директору.

Новый преподаватель резким движением повернулся к прекрасному старинному мраморному бюсту, к уродливой умнейшей голове писателя и ученого Франсуа-Мари Аруэ Воль- тера.

– Нравится вам этот бюст, коллега? – вежливо спросил директор.

– Мне больше нравится второй, – растягивая слова и квакая на восточнопрусский лад, напрямик заявил новый преподаватель, указывая на бюст другого урода, на голову прусского писателя и короля Фридриха Гогенцоллерна. – Я понимаю, господин директор, – продолжал он, – почему вы против великого короля поставили его антипода. На одной стороне – высо- кий дух во всем его величии, а на другой – интеллектуальная бестия во всем ее ничтожестве. Величие немецкого духа подчеркивается этим контрастом. Но разрешите, господин директор, прямо сказать вам: мне было бы неприятно целыми днями лицезреть образину этого галла.

Господин Франсуа продолжал улыбаться с вымученной вежливостью. Трудно найти общий язык с этим новым преподавателем.

– Пожалуй, нам пора в класс: я хочу вас представить, – сказал он.

При входе директора и нового учителя ученики встали. Директор Франсуа произнес короткую речь, больше о покойном докторе Гейнциусе, чем о докторе Фогельзанге. Он облег- ченно вздохнул, когда дверь отделила его от нового учителя.

Пока директор говорил, Фогельзанг стоял навтыжку, грудь колесом, неподвижно устре- мив вперед взгляд бледно-голубых глаз. После ухода Франсуа он сел, улыбнулся, стараясь пока- заться добрым малым.

– Ну, ребята, – сказал он, – надеюсь, мы столкнемся с вами. Рассказывайте-ка, что и как.

Большинству класса на первый взгляд новый наставник не понравился: высокий ворот- ничок, судорожная выправка, – грош цена этому. Провинция, да еще самая отсталая, решили они. Но первые слова Фогельзанга нельзя было назвать неудачными: тон был взят правильный.

Фогельзангу повезло. В классе как раз читали «Битву в Тевтобургском лесу» Граббе, писателя первой половины девятнадцатого века, почти классика, – произведение сырое, неглу- бокое по мысли, но проникнутое подлинным огнем, местами очень образное. Битва в Тевто- бургском лесу – великолепное вступление германцев на арену истории; эта первая крупная победа германцев над галлами была излюбленной темой Бернда Фогельзанга. Он сравнивает воспевающие эту битву произведения Граббе, Клопштока, Клейста. Вопросов почти не задает, говорит сам. Он не из тех, кто останавливается на тонкостях, как покойный Гейнциус, он ста- рается зажечь класс своим воодушевлением. Время от времени он дает высказаться ученикам. Он держит себя по-товарищески, его интересует, хорошо ли знаком класс с отечественной литературой. Кто-то упомянул о неистовом клейстовском гимне «Германия – своим сынам».

– Великолепное стихотворение! – воскликнул горячо Фогельзанг. Он знал его наизусть и тут же продекламировал несколько сильных строф, исполненных дикой ненависти к галлам:

Пусть белеют вражьи кости
По полям у всех дорог!
В воду хищным рыбам бросьте
Все, чем ворон пренебрег!

Рейн телами запрудите,
Заградите путь волнам,

К Пфальцу воды отведите, —
Пусть границей будут нам!

Вот охота! Со стрелками
Марш по следу за волками!
Бейте! Высший судия
Не осудит вас, друзья¹.

Самозабвенно декламировал он слова ненависти. Шрам, рассекавший его правую щеку, налился кровью; из-под льняных усов над высоким воротником вылетали слова, но лицо оставалось неподвижным, как маска. Восточнопрусский протяжный говор придавал странное звучание декламации Фогельзанга. Весь его облик был немного смешон. Но берлинские юнцы тонко различают, кто искренен, а кто кривляется. Девятиклассники чувствовали, что человек на кафедре хоть и смешон, но говорит от всего сердца. Они не смеялись, они смотрели на него, на своего нового учителя, с любопытством и даже, пожалуй, с некоторым смущением.

Когда раздался звонок, у Бернда Фогельзанга сложилось впечатление: победа по всей линии. Он одолел девятый класс берлинской либеральной строптивой гимназии. Директор Франсуа, эта шляпа, наверно, удивится. Конечно, класс уже заражен разлагающим ядом берлинского интеллектуализма, но Бернд Фогельзанг уверен: он это дитяtko усмирит.

На пятнадцатиминутной перемене он вызывает к себе обоих учеников, чьи доклады стоят на очереди. «Слово устное важнее слова писаного», – он свято придерживается этого изречения фюрера и придает поэтому особое значение докладам. С одним учеником он столкнулся быстро. Тот собирается говорить о нибелунгах, и тема его называется: «Чему может научиться наше поколение на борьбе нибелунгов с королем Этцелем?»

– Правильно, – говорит Фогельзанг. – Оно может многому научиться.

Ну а этот сероглазый чего хочет? «Гуманизм и двадцатый век»? Фогельзанг всматривается в сероглазого. Парень рослый, да что-то не вяжутся черные волосы с серыми глазами. На улицах Берлина такому молодчику есть, может быть, чем щегольнуть, но в рядах марширующей молодежи он был бы белой вороной.

– Как вы сказали, «Гуманизм и двадцатый век»? – переспрашивает Фогельзанг. – Но возможно ли в какой-нибудь час или того меньше разобрать с толком такую обширную тему?

– Господин доктор Гейнциус дал мне кое-какие указания, – скромно замечает Бертольд, сдерживая звучный, мужественный голос.

– Меня удивляет, что мой предшественник разрешал темы такого общего характера, – продолжает доктор Фогельзанг. Голос его звучит резко, квакающе, задиристо. Бертольд молчит. Что он может возразить? Доктор Гейнциус, который мог бы, несомненно, многое возразить, лежит на Штансдорфском кладбище, Бертольд сам бросил горсть земли на его могилу. Доктор Гейнциус помочь ему не может.

– И долго вы работали над этой темой? – допытывается квакающий голос.

– Доклад почти готов, – отвечает Бертольд. – Я ведь должен был читать его на следующей неделе, – поясняет он, и это звучит почти как извинение.

– Очень сожалею, – отчеканивает Фогельзанг, чрезвычайно вежливо, впрочем. – Я таких общих тем не люблю. Я принципиально против них.

Бертольд берет себя в руки, но не может сдержать легкое подергивание лица. Фогельзанг замечает это не без некоторого удовлетворения. Чтобы скрыть его, он повторяет:

– Мне очень жаль, что вы потратили столько труда. Но *principiis obsta*. Каждый труд несет в себе награду.

¹ Перевод С. Ошерова.

Бертольд чуть побледнел. Но этот Фогельзанг прав. В неполный час едва ли уложишь «гуманизм». Фогельзанг Бертольду несимпатичен, но он все-таки молодец, он показал это на уроке.

– Какую тему предложили бы вы взамен, господин доктор? – спрашивает Бертольд. Голос его звучит хрипло.

– Надо подумать, – соображает Фогельзанг. – Кстати, как ваша фамилия? – Бертольд Опперман называет себя. Ага, думает учитель. Теперь все понятно. Отсюда и необычность темы. На эту фамилию он уже обратил внимание, просматривая классный журнал. Есть Опперманы-евреи и Опперманы-христиане. Долго копаться, однако, не приходится: еврей, разрушитель, враг наметанному глазу тотчас же виден. «Гуманизм и двадцатый век». Всегда они прячутся под маской громких слов.

– Как бы вы отнеслись, – говорит Фогельзанг возможно проще, товарищеским тоном: с этим опасным парнем нужно быть начеку, – как бы вы отнеслись к докладу об Армии Германце? Что вы думаете о теме «Чем является для нас, современников, Арминий Германец?».

Учитель Фогельзанг деревянно сидит на кафедре и пристально смотрит в лицо юноше. «Загипнотизировать он меня хочет, что ли? – думает Бертольд. – Арминий Германец, то есть, собственно, Герман Херуск. Впрочем, Арминий ли Германец, Герман ли Херуск, мне в высокой степени наплевать. Не по душе мне это». Бертольд сосредоточенно смотрит на рассеченное шрамом лицо учителя, на его прямой пробор, неподвижные бледно-голубые глаза и высокий воротничок. «Тема мне не по душе. По-моему, она не так интересна. Но если я скажу „нет“, он, безусловно, сочтет это трусостью. Гуманизм для него чересчур общо. Арминий Германец. Это просто вызов мне. Ясно, голубчик. Я скажу, что мне нужно подумать. А он мне ответит: ладно, подумайте. И это будет означать: увиливаешь, брат. А разве я увиливаю?»

– Чем для нашего поколения является Арминий Германец? – повторяет квакающий голос Фогельзанга. – Ну как, Опперман?

– Хорошо, – говорит Бертольд.

Но слово не успевает отзвучать, как он хотел бы взять его обратно. Надо было сказать: я подумаю. И он хотел так сказать, но теперь уже поздно.

– Превосходно. – Фогельзанг одобрительно кивает. У него сегодня удачный день: и тут он вышел победителем.

На расспросы товарищей, как он поладил с новым учителем, Бертольд отвечал односложно:

– Он ни то ни се. Сразу не поймешь, – и ничего больше не добавил.

Значительную часть пути домой Бертольд и Генрих проделывали обычно вместе. Мальчики ездили на велосипедах, привязав ремнями к рулю книги и тетради, то рядом, положив руку друг другу на плечо, то разделенные уличным движением.

– Он зарезал мне доклад, – сказал Бертольд.

– Да ну? – возмутился Генрих. – Вот свинья. Это ему на руку. Чистейшая подлость.

Бертольд не ответил. Их разъединили машины.

У ближайшего красного светофора они съехались снова. Стояли совсем рядом, одной ногой на тротуаре, зажатые автомобилями.

– Он предложил мне тему: «Чем является для нас Арминий Германец?» – сказал Бертольд.

– И ты согласился? – между автомобильными гудками бросил Генрих.

– Да, – сказал Бертольд.

– Я бы не стал этого делать, – буркнул Генрих. – Гляди в оба: он хочет тебе свинью подложить.

Желтый свет, зеленый свет, они двигаются дальше.

– Ты представляешь себе, какой он? – спросил Бертольд.

– Кто? – удивился Генрих. Он думал о предстоящем футболе.
– Герман Херуск, конечно, – сказал Бертольд.
– Такой же дикарь, как и все они, – решил Генрих.
– А ты подумай об этом, – попросил Бертольд.
– О'кей, – сказал Генрих. Когда он проявлял особую сердечность, ему невольно приходили на ум слова из языка его детства.

На этом они расстались.

Бертольд единоборствовал со своей темой. Это была большая битва, где доктор Фогельзанг являлся врагом. Фогельзангу посчастливилось: поле сражения выбрал он; положение солнца и направление ветра были в его пользу; он знал местность лучше Бертольда. Фогельзанг был хитер. Бертольд отважен и настойчив.

Бертольд сидел, углубившись в книги, трактовавшие его тему: Тацита, Моммзена, Дессау. Достиг ли Герман Херуск чего-нибудь в действительности? Победа принесла ему чертовски мало. Через каких-нибудь два года римляне снова стояли на Рейне. В общем, это была колониальная война, своего рода боксерское восстание, с которым римляне быстро справились. Арминия, побежденного римлянами, убили его же соотечественники; его тесть смотрел из императорской ложи, как жену и сына Арминия римляне вели за триумфальной колесницей.

Чем является для нас Арминий Германец? Общие фразы не удовлетворяли Бертольда. Ему нужны были осязаемые образы. Битва. Три легиона. Один легион – это около шести тысяч человек; с обозом и прочим – от десяти до двадцати тысяч. Болота, леса. Вероятно, что-нибудь похожее на битву под Танненбергом. Лагерь из повозок, клубящийся туман. Германцы больше всего ненавидели римских юристов. Они изобретали для них изощренные пытки. Германцы, читал Бертольд у историка Зеека, считали, что публичное право посягает на индивидуальную честь. Они не хотели никакого права. Это было главной причиной восстания.

Обязательно нужно представить себе лицо Германа, это ясно было Бертольду с самого начала. С большим напряжением не раз пытался он нарисовать себе образ Германа. Памятник в Тевтобургском лесу – большой цоколь с невыразительной статуей – ничего не давал.

– Дураком он не был, твой Герман, – говорил Бертольду Генрих Лавендель. – Но у этих молодцов голова работала как-то иначе, чем у нас. Рассудок дикаря. Одно можно сказать с уверенностью: он был хитер.

«Он обладал, вероятно, той северной хитростью, – размышлял Бертольд, – о которой теперь так много говорят. Доктору Фогельзангу она тоже свойственна».

Ночью Бертольд долго не мог заснуть (теперь это случалось с ним довольно часто): он лежал, включив только маленькую лампочку над кроватью. На нежном рисунке обоев, сотни раз повторяясь, фантастическая птица сидела на свисающей тонкой ветке. Если немножко прищуриться, то контуры птичьего брюшка и линия свисающей ветки превращаются в очертания человеческого лица. Да, вот оно наконец: лицо Германа. Широкий лоб, плоский нос, большой рот, короткий, но сильный подбородок. Бертольд улыбнулся. Теперь он его обрел, этого Германа. Теперь доктору Фогельзангу не поздоровится. Бертольд уснул успокоенный.

До этого момента Бертольд ни с кем, кроме Генриха Лавенделя, не говорил о своих затруднениях. А теперь молчаливость его обратилась в свою противоположность. Только с родителями он по-прежнему отмалчивался. И отец и мать видели, конечно, что Бертольд чем-то расстроен, но они знали по опыту: если расспрашивать, он только заупрямится. Поэтому они ждали, пока он заговорит сам.

Но со многими другими Бертольд говорил, и ему пришлось услышать много различных мнений. Вот, например, умудренный жизненным опытом шофер Францке. Для него битва в Тевтобургском лесу вовсе не проблема. «Ясно, – решительно отрезал он, – в те времена национализм имел еще, так сказать, свое оправдание». А Жак Лавендель, напротив, заявил, что вар-

вары эти совершили ту же ошибку, которую семьдесят лет спустя совершили евреи, восстав, без всякой надежды на успех, против поработителей, обладавших блестяще организованными и превосходящими силами. «Такие вещи никогда не кончаются добром», – заключил он, склонив голову набок, полужакрыв голубые глаза.

Гораздо симпатичнее этого трезвого толкования казалось Бертольду мнение его дяди Иоахима. Бертольд уважал и любил Иоахима Ранцов, брата своей матери. Директор департамента Ранцов, сухопарый, высокий, холеный, сдержанный в словах и поступках, завоевал сердце племянника тем, что обращался с ним как со взрослым. В рассуждениях дяди Иоахима об Армии Германии было много романтики; Бертольд не вполне понимал их, но они производили на него впечатление.

– Видишь ли, друг мой, – сказал дядя Иоахим, узкой рукой осторожно наливая Бертольду рюмку крепкой водки. – То, что в конце концов дело приняло скверный оборот, еще ничего не доказывает:

Один взывает: «Что потом?» —
«Кто прав?» – другого зов.
И этим отличается свободный от рабов.

Герман был прав. Только через это восстание, пусть даже с риском позднейших поражений, германцы осознали себя, выкристаллизовались, ощутили себя. Без этого восстания они никогда не вошли бы в историю, они безымянно растворились бы в других народах. Они существуют только благодаря Герману, он дал германцам имя. А имя, слава – вот единственное, что идет в счет. Несущественно, каким был настоящий Цезарь, живет миф о Цезаре.

Значит, если Бертольд правильно понял дядю Иоахима, важно не только подлинное лицо Германа, но и лицо статуи в Тевтобургском лесу. Значит, недостаточно одного образа Германа, который он уловил. Это опять путало. Бертольд был еще далек от цели.

Случайный разговор с кузиной Рут Опперман тоже не помог Бертольду разрешить мучившие его вопросы. Рут относилась к нему свысока, обращалась с ним как с маленьким мальчиком, воспитанным в неправильных представлениях. Но он был юн, его безусловно можно было освободить от предрассудков, показать ему, где правда, которая ведь так проста. Рут, как могла, старалась спасти брата. Бертольда раздражала эта некрасивая девушка с резкими манерами. Тем не менее он всегда искал случая поговорить и поспорить с нею. Сильной логикой она, по его мнению, не отличалась, но в ней была целеустремленность. У нее было свое лицо, она настоящая.

По мнению Рут, Герман Херуск шел единственно правильным путем. Он поступил так, как за несколько столетий до него поступили Маккавеи: он восстал против угнетателей, выбросил их из страны. А как же иначе поступать с угнетателями?

Глядя на Рут, на ее большие, горящие глаза, на смуглое лицо, на слегка растрепанные, по обыкновению, волосы, Бертольд невольно думал о германских женщинах, которые вместе со своими мужьями шли на войну – защищать укрепления. У германок были, конечно, белокурые волосы, светлая кожа, голубые глаза; но у них, вероятно, волосы тоже были всегда чуть растрепаны, глаза большие и горящие и выражение, наверное, такое же, как у Рут.

Правда была Рут, прав дядя Иоахим, да и сам он, Бертольд, тоже восхищался Германом. Но путало то, что прав был, к сожалению, и дядя Жак Лавендель: сколько ни побеждал Герман, а в конце концов толку от этих побед действительно никакого не вышло.

В эти дни перед докладом враг – доктор Фогельзанг – вел себя безупречно. Бернд Фогельзанг боялся действовать опрометчиво. Гимназия королевы Луизы представляла собой опасную территорию, продвигаться следовало чрезвычайно осторожно, с северной хитростью. В

каждом школьнике Фогельзанг подозревал противника, каждого прощупывал. Из всего класса он отметил только двух юношей, достойных войти в ряды «Молодых орлов»: Макса Вебера и Вернера Риттерштега.

Вернер Риттерштег, бледный, болезненный, с пискливым голосом, был самым высоким в классе. «Долговязый» – прозвали его товарищи. Доктор Фогельзанг с самого начала произвел на него сильное впечатление. Вернер Риттерштег с такой собачьей преданностью смотрел выпученными глазами на нового учителя, что тот сразу обратил на него внимание. Бернд Фогельзанг ценил слепое повиновение авторитету, оно было для него признаком вассальной преданности. Он удостоил гимназиста Риттерштега зачисления в ряды «Молодых орлов».

Единственный сын состоятельных родителей, стремившихся вывести его в люди, Вернер Риттерштег, кроме своего длинного роста, до сих пор ничем не выделялся среди товарищей. Средних способностей, тяжелодум, он при покойном учителе Гейнциусе оставался в тени. Вступление в ряды «Молодых орлов» было первым крупным успехом в его жизни. Узкая грудь его сразу выпятилась.

Его избрал доктор Фогельзанг; всех других, за одним-единственным исключением, он считал недостойными.

Конечно, таинственность, окружавшая союз «Молодых орлов», кровавый брудершафт, тайные обряды, тайное судилище, – все это очень привлекало школьников, и они, разумеется, завидовали Веберу и Риттерштегу. Даже не склонный увлекаться Генрих Лавендель и тот, услышав о приеме их в союз, воскликнул: «Lucky dogs!»²

Долговязому очень хотелось, чтобы Генрих Лавендель не ограничился одним этим восклицанием. Именно на Генриха ему хотелось произвести впечатление. Риттерштег завидовал его силе и ловкости, восхищался его гибкой, коренастой фигурой, его мастерскими прыжками, поворотливостью, стремительностью. Настойчиво и неуклюже добивался он расположения Генриха Лавенделя. Даже по-английски выучился ради него. Но и тогда, когда он однажды приветствовал Генриха: «How are you, old fellow?»³ – тот не проявил к нему никакого интереса. Риттерштега мучило это равнодушие, которого даже его успех не мог поколебать.

Кроме посвящения Вебера и Риттерштега в «Молодые орлы», никаких событий в классе не произошло. Гимназисты быстро привыкли к своему наставнику-нацисту. Он не пользовался особой любовью класса, но и не был особенно нелюбим, – он был учителем, как все другие учителя, и им перестали заниматься. Феноменальные достижения Генриха Лавенделя в футболе волновали класс больше, чем суждения Фогельзанга.

Успокоился и директор гимназии Франсуа. Мягкий, миролюбивый, сидел он в просторном директорском кабинете между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. Вот уже почти три недели, как Фогельзанг здесь, и пока не произошло ни одной неприятности. Одно огорчало господина Франсуа: ужасный немецкий язык доктора Фогельзанга и его единомышленников, этот казарменный, канцелярский, штампованный новый немецкий язык. Перед сном, сидя на кровати и бережно спуская помочи, он горестно жаловался жене:

– Этот человек погубит все, что я дал мальчикам. Мысль и слово тождественны. Семь лет старались мы научить наших мальчиков простому и ясному немецкому языку. И вдруг министерство выпускает на них этого тевтона. Черепу новорожденного можно придать любую форму: удлиненную или круглую. Как знать, усвоили ли дети немецкий язык настолько, чтобы оказать сопротивление этому искаженному псевдонемецкому языку? Мне горько подумать, что им придется вступить в жизнь без ясных понятий, выраженных ясными словами. – Добрые глаза господина Франсуа грустно смотрели сквозь неоправленные толстые стекла очков.

² Счастливые, черти! (англ.)

³ Как поживаешь, старина? (англ.)

– Дело сейчас не в этом, Альфред, – решительно заявляла жена. – Радуйся, что ты с ним кое-как поладил. В наше время сколько ни будь осторожен, все мало.

Жена педелея Меллентина была разочарована. Слушая рассказы мужа, она ждала, что новенький сразу же заявит о себе каким-либо великим делом. Но педель Меллентин не так легко менял свое мнение.

– Танненберг тоже не в день был взят. Этот себя еще покажет, – убежденно сказал он.

Фрау Меллентин успокоилась и в разговорах с другими не упускала случая сообщить мнение мужа; он безусловно, обладал нюхом: всегда за два дня чуял, откуда ветер подует.

В одиннадцать часов двадцать минут господин Маркус Вольфсон, продавец филиала мебельной фирмы Опперман на Потсдамерштрассе, начал обслуживать фрау Элизабет Герике, пожелавшую купить мужу к Рождеству стул. Стул или кресло, она сама хорошенько не знала. Несомненно было одно, это должно быть что-нибудь из мебели и специально в подарок ее мужу. Господин Вольфсон продемонстрировал ей стулья и кресла всевозможных видов и фасонов. Но фрау Герике была женщина с недостаточно решительным характером, к тому же такого рода покупка была для нее праздником, и ей хотелось возможно дольше продлить его. Ей нравилось, что ее так усердно обхаживают. Господин Вольфсон и в самом деле хлопотал, не жалея сил. Маркус Вольфсон был хорошим продавцом: обслуживание клиента он считал делом своей жизни.

В одиннадцать часов сорок шесть минут он мог поздравить себя с успехом: клюнуло. Господин Вольфсон увидел это наметанным глазом продавца-психолога с долголетним опытом. Фрау Герике – хотя он и потратил на нее столько времени и красноречия – оказалась для него сущей находкой, ибо она клюнула на кресло стиля барокко, модель № 483. Пять лет назад оппермановские мастерские выпустили довольно большую серию кресел барокко, модель № 483. Кстати сказать, эта модель чуть было не привела к ссоре между шефами фирмы. Старший владелец фирмы доктор Густав Опперман, человек покладистый, обычно не вмешивавшийся в дела фирмы, назвал это кресло компрометирующей безвкусицей, и, в сущности, оно-то и послужило поводом для открытия отдела художественной мебели и для приглашения доктора Фришлина. Впрочем, продавцу Маркусу Вольфсону модель № 483 нравилась: кресло было видное, а мещанская клиентура фирмы Опперман любила известную пышность. Как бы то ни было, модель эта успеха не имела. Кресло занимало много места, квартиры были небольшие, можно было найти менее громоздкие и более дешевые кресла, в которых к тому же и сиделось удобнее. Усилия соблазнить клиентуру креслами барокко ни к чему не привели. Пришлось продавать их с убытком, за половинную цену. Продавцы, находившие на них покупателей, получали пять процентов премии.

И вот господину Вольфсону, видимо, удастся продать такое кресло. В красноречивых выражениях описывает он, какой изысканный вид приобретает каждая комната, которую украшает это кресло. Он пригласил фрау Герике попробовать, как удобно в нем сидится; он не может не сказать ей, так, к слову, какой аристократический вид у нее в этом кресле.

В двенадцать часов восемь минут он у цели. Фрау Герике заявила, что готова приобрести кресло барокко, модель № 483, стоимостью в пятьдесят девять марок.

Итак, господин Маркус Вольфсон потерял восемь минут своего обеденного перерыва, который начинался в двенадцать часов и кончался в два часа. Но он об этом нисколько не сожалеет. Наоборот, он испытывает душевный подъем. Ведь он сразу почуял, что несговорчивая покупательница клюнет на кресло барокко, модель № 483, надоевшее всем в магазине, как бельмо на глазу. Двенадцать часов восемь минут; восемь минут потеряно. Но зато он заработал четыре марки семьдесят пять пфеннигов, а это выходит пятьдесят девять пфеннигов в минуту. Неплохой заработок. Если бы ему за каждую минуту так платили, он охотно пожертвовал бы всем обеденным перерывом.

Господин Вольфсон спешит в кафе Лемана, где он обычно проводит свой обеденный перерыв. По дороге он покупает «Бе-Цет ам миттаг». «Бе-Цет» есть и в кафе Лемана, но она там постоянно занята, а сегодня, после удачи с креслом барокко, он может позволить себе купить газету. Он занимает свое излюбленное место у окна, разворачивает бутерброды, которые жена дала ему с собой, прихлебывает горячий кофе. Господин Леман, владелец кафе, собственной персоной подходит к его столику.

– Все ли в порядке, господин Вольфсон? – осведомляется он.

– Все в порядке, – подтверждает господин Вольфсон.

Жуя, прихлебывая, пробегает он газету. Число безработных растет: этот кризис прямо-таки ужасен. Его лично кризис, конечно, не пугает. Он уже двадцать лет служит в оппермановской фирме, его положение прочно. Несмотря на кризис, он сегодня утром опять заработал четыре марки семьдесят пять пфеннигов премиальных. За ноябрь он уже седьмой раз получает премиальные. Он вполне доволен собой.

Перелистывая газету, господин Вольфсон ловит в зеркале свое отражение. Он не очень мнит о себе, но внешность у него довольно сносная. Конечно, некоторые из его коллег интереснее. Из зеркала на него смотрит господин ниже среднего, даже маленького роста, с темным цветом лица, черными, живыми глазками, черными, расчесанными на пробор, сильно напояженными волосами и черными усиками, безуспешно претендующими на бойкость. Горе господина Вольфсона – его мелкие, редкие, плохие зубы. И самое неприятное: в верхней челюсти, как раз посередине – щербина. В больничной кассе ему обещали вставить зуб. Дантист Шульце, коллега по сберегательному союзу «Старые петухи», объяснил ему, что лучше сделать так называемый мост. Но больничная касса на это не пойдет, придется ему из собственного кармана выложить денежки. Мост стоит вообще около восьмидесяти марок, но Шульце из чисто коллегияльных чувств – ведь они в одном союзе – сделает ему за семьдесят марок; может быть, господину Вольфсону удастся выторговать еще пять марок. Семьдесят марок – это большие деньги, но расходы на собственное здоровье – в первую очередь. То, что ему вставят в рот, он будет носить всю жизнь и даже после смерти, до Страшного суда. Если он проживет еще тридцать пять лет, весь расход сведется к двум маркам в год, а с процентами и с процентами на проценты – маркам к восьми. Четыре марки семьдесят пять пфеннигов – неплохие премиальные, а он получает их в текущем ноябре вот уже седьмой раз. Мост потребует, вероятно, шесть-семь сеансов. Перед Рождеством нечего даже думать затевать эту канительную штуку. Конечно, было бы замечательно заново отделать свой фасад.

Вообще говоря, господин Вольфсон несколько не заблуждается насчет своей внешности – ей он меньше всего обязан деловыми и личными успехами. Он отвоевал их у судьбы способностями и неутомимой энергией. Он изучил искусство обслуживания покупателя до тонкости. Прежде всего – не жалеть сил. Ни под каким видом не пасовать. Ни под каким видом не выпускать из рук покупателя, как бы тот ни капризничал. Выбор в оппермановских магазинах достаточно богатый. Если покупатель отклонил двадцать вещей, всегда можно найти двадцать первую. И не искать оправдания в усталости.

Вольфсон покончил с бутербродами, но по случаю тех самых четырех марок семидесяти пяти пфеннигов он может, пожалуй, позволить себе сегодня шоколадное пирожное со взбитыми сливками. Он заказывает.

Приятное предвкушение пирожного ненадолго омрачается одной заметкой в его «Бе-Цет». Он с негодованием читает, что нацисты пытались на ходу выбросить из вагона подземной железной дороги господина еврейской наружности только потому, что тот будто бы с отвержением отвернулся, когда они пропели строфу своего гимна: «Всадив еврею в горло нож, мы скажем снова: мир хорош». Но господин оказался не из слабеньких; к нему на помощь подошли другие пассажиры, и хулиганам не только не удалось выполнить свое намерение, но они, как с удовлетворением констатировала газета, были задержаны полицией и понесут наказание.

Маркуса Вольфсона охватывает тревожное чувство.

Впрочем, он быстро успокаивается. Случай в подземке – единичное происшествие. В общем, политическое положение в данный момент благоприятнее, чем все последнее время. Рейхсканцлер Шлейхер правит твердой рукой. Нацисты накануне полного краха. Вольфсон читает об этом три раза в день: утром «Моргенпост», днем «Бе-Цет» и вечером «Ахт-ур-абенд-блатт» приводят неопровержимые доказательства того, что нацисты ни при каких условиях не добьются дальнейших успехов.

Господин Вольфсон пребывает в полном ладу с собой и со всем миром.

Разве у него нет оснований быть спокойным и довольным? Если к нему заглянет сегодня вечером Мориц, его шурин Мориц Эренрайх, он ему задаст перцу. Мориц Эренрайх – наборщик «Объединенных типографий», сионист, член спортивного общества «Маккавеи», видит немецкие дела в самом черном свете. Что, в сущности, пугает таких людей, как Мориц Эренрайх? Несколько хулиганов хотели выбросить из вагона еврея. Ну и что же? Их арестовали, и они понесут наказание.

Лично на себе господин Вольфсон пока ничего плохого не испытал. У него великолепные отношения со всеми сослуживцами. С ним приветливы в кафе Лемана и в сберегательном союзе «Старые петухи».

Но что безусловно гораздо важнее – к нему расположен управляющий домом Краузе. Просто счастье, что он получил в этих новых домах на Фридрих-Карлштрассе в Темпельгофе свою чудесную трехкомнатную квартиру. Восемьдесят две марки – да ведь это даром, милейший. Постройка этих домов субсидировалась городскими властями. Квартирная плата в них ниже обычных процентов на вложенный в постройку капитал. Даром, даром, милейший. Фирма Опперман добила для своих служащих двадцати таких удешевленных квартир; своей Вольфсон обязан доверенному Бригеру, то есть, в сущности, своему служебному рвению.

К сожалению, квартирные контракты заключались на срок не свыше трех лет. Из них двадцать месяцев уже прошло. Но господин Вольфсон на короткой ноге с управляющим Краузе. Он знает, чем взять его: господин Краузе любит рассказывать анекдоты, очень старые и постоянно одни и те же; трудно, правда, всегда выслушивать их «с интересом» и смеяться как раз вовремя – не слишком рано и не слишком поздно. Но Маркус Вольфсон это умеет.

Он слизывает остатки сливок с усов, зовет кельнера, чтобы расплатиться. Настроение у него, когда он вытаскивает портмоне, еще поднимается. Дело не только в семи премиях: весь баланс в ноябре у него превосходен.

Господин Вольфсон после всех отчислений получает двести девяносто восемь марок в месяц. Кроме того, всякие премиальные и проценты дают в среднем еще около пятидесяти марок. Триста марок он отдает фрау Вольфсон на содержание семьи в четыре души; таким образом, ему остается, за вычетом месячного проездного билета, около сорока марок на кафе и прочие карманные расходы. Раз в неделю господин Вольфсон отправляется обычно в ресторан «Старый Фриц» и режется там в скат со «старыми петухами». Он искусный игрок, и иногда карточными выигрышами, хотя двадцать процентов из них отчисляется в кассу ферейна, увеличивает свой месячный доход марок на шесть-семь. В ноябре ему чертовски повезло. При месячном отчете фрау Вольфсон он спокойно может утаить от нее целых восемь или даже десять марок.

В ожидании кельнера он сладострастно обдумывает, что бы такое предпринять с утаенными денежными излишками. Он мог бы, например, купить несколько галстуков, давно уже ласкавших его глаз. Он мог бы пригласить в кафе фрейлейн Эрлбах из бухгалтерии. Или, скажем, еще разок поставить на заграничную лошадку в табачной лавке Мейнеке, где принимают ставки. Ясно. Это как раз то, что нужно. Восемь-двенадцать марок – дело хорошее, но жирным станет кусок, когда они превратятся в восемьдесят-сто марок. Маркус Вольфсон – человек

решительный. Это знают его коллеги в магазине, это знают и «старые петухи». Сейчас же, еще до возвращения в магазин, он по дороге забежит к Мейнеке и поставит на лошадку.

Господин Мейнеке обрадованно встречает своего постоянного клиента.

– Давно не виделись, господин Вольфсон. На кого думаете ставить? – спрашивает он. И тут же заявляет: – В большом спросе сейчас «Маркезина», но вы ведь знаете, дорогой господин Вольфсон, у меня на этот счет никогда нет мнения.

Нет, на «Маркезину» господин Вольфсон гроша ломаного не поставит. Там есть лошадь *Quelques Fleurs*⁴. Господин Вольфсон гордится своим изысканным французским произношением.

– Ну, – говорит он, – так я определенно за *Quelques Fleurs*.

Вторая половина дня, в отличие от шумного и суетливого утра, прошла в магазине тихо. А потом наступили лучшие часы – вечер.

Уже по дороге домой, как ни прокурен и ни тяжел воздух в метро, Маркус Вольфсон сладостно предвкушает чувство уюта, которое охватит его, как только он переступит порог своей квартирки. Он поднимается по лестнице к выходу. Вот и знакомые деревья; дальше – заросший травой участок. В будущем году этот участок начнут застраивать. Он повернул на Фридрих-Карлштрассе. А вот и дорогой его сердцу ряд домов. Да, Маркус Вольфсон любит эти дома, он горд их двумястами семьюдесятью квартирами, похожими одна на другую, как коробки от сардин. И сам он в своей квартирке как сардина в коробке. «*My home is my castle*»⁵ – одна из немногих фраз, запомнившихся ему после трехлетнего обучения в реальном училище.

Он поднимается по лестнице. С площадки каждого этажа ему навстречу несетя запах кушаний, через двери слышно радио. На четвертом этаже справа – его дверь.

Прежде чем отпереть ее, он, как всегда, чувствует легкий приступ ярости. На двери рядом красуется карточка: «Рюдигер Царнке». С ненавистью смотрит господин Вольфсон на эту визитную карточку. Он человек спокойный, но эту карточку он бы с удовольствием сорвал. Со всеми или, по крайней мере, с громадным большинством обитателей этих домов он чувствует себя как с родными братьями, он разделяет их радости, их заботы, их взгляды. Эти люди – его друзья, а господин Царнке – враг. Не только потому, что шурин Царнке всеми средствами стремится завладеть квартирой рядом с Царнке, его, господина Вольфсона, квартирой, но еще и потому, что господин Царнке по малейшему поводу любит вывешивать из всех своих трех окон флаги со свастикой. Этот Царнке постоянно нарушает покой господина Вольфсона, злит его. Стены тонкие, днем и ночью доносится из соседней квартиры громкий скрипучий голос Царнке. Господин Вольфсон часто встречает своего соседа на лестнице и при всем желании не может не отметить, что у господина Царнке крупные, здоровые белые зубы.

Бросая злобные взгляды на визитную карточку соседа, господин Вольфсон отпирает дверь своей квартиры. Из кухни звонким, певучим голосом кричит ему жена:

– Ты уже здесь, Маркус?

Вольфсон часто потешается над этим нелепым вопросом.

– Нет, – говорит он с добродушной насмешкой, – я еще не здесь.

Жена возится на кухне. Он снимает воротничок, сменяет коричневый выходной костюм на домашний, старый и потертый, сбрасывает ботинки и влезает в удобные стоптанные комнатные туфли. Шаркая, проходит в другую комнату, с улыбкой смотрит на спящих детей: пятилетнюю Эльзхен и трехлетнего Боба; шаркая, бредет обратно. Садится в черное вольтеровское кресло, купленное по льготной цене у Опперманов, удивительно удачная покупка, поистине находка, как говорится, мецье. С наслаждением вдыхает Маркус запах тушеного мяса, так

⁴ Букет цветов (*фр.*).

⁵ Мой дом – моя крепость (*англ.*).

называемой кассельской грудинки. Радио включать не приходится: он пользуется радио господина Царнке. Сегодня приятно-громкая музыка; он заглядывает в газету: ага, «Лоэнгрин».

Фрау Мириам Вольфсон – господин Вольфсон зовет ее Марией – деловитая, довольно полная, рыжеватая блондинка, вносит обед. На стол ставится запотевшая бутылка пива, холодного, аппетитного. Господин Вольфсон раскладывает перед собой газету, ест, пьет, читает, слушает радио, а заодно и жену. Все его существо наслаждается вечерним уютом.

Впрочем, то, что ему многословно излагает фрау Вольфсон, как раз не очень приятно: фрау Вольфсон ожидала даже, что он будет ворчать. Она говорит о необходимости приобрести для пятилетней Эльзхен новое зимнее пальто. Стыдно смотреть, в каком пальто бегают Эльзхен: она выросла из него. Фрау Хоппегарт уже подпустила шпилечку на этот счет. «Ваша дочка похожа на лопнувшую колбаску», – довольно метко определила фрау Хоппегарт. Пора наконец Бобу унаследовать пальто Эльзхен. Фрау Вольфсон начала излагать свои соображения еще до того, как Тельрамунд бросил обвинение Эльзе Брабантской; когда Лоэнгрин вызвал на бой Тельрамунда, она как раз высказывала свои соображения о том, сколько может стоить пальто для Эльзхен. По ее расчетам, марок восемь-десять. Ну конечно, господин Вольфсон ворчит. Но фрау Вольфсон сразу видит, что в общем не страшно. Уже к концу первого акта «Лоэнгрин» супруги договорились: к Рождеству пальтишко для Эльзхен будет куплено.

Фрау Вольфсон убрала со стола. Маркус Вольфсон снова уселся в черное вольтеровское кресло дочитывать газету. Эльза и Лоэнгрин под звуки свадебного марша уже вступали в свою опочивальню, витавшие в комнате приятные ароматы кассельской грудинки с тушеной капустой почти развеялись, а он все еще задумчиво глядел на знакомое серо-бурое влажное пятно под потолком, расплывающееся по стене. Оно появилось вскоре после переезда; сначала совсем крохотное, а теперь вон как выросло. И пришлось оно как раз над красивой картиной под названием «Игра волн», на которой плавающие боги и богини играют в салки. Господин Вольфсон купил ее в художественном отделе мебельной фирмы Опперман. Ему уступили ее по исключительно дешевой цене, несмотря на прекрасную раму. Месяц назад расстояние между картиной и пятном было, по крайней мере, с полметра, а теперь там и четверти не будет. Маркус Вольфсон много дал бы, чтобы узнать, как обстоит дело с пятном по ту сторону стены, у соседа Царнке. Но к сожалению, об этом нечего и думать. С этой публикой говорить невозможно: они на ходу выбрасывают людей из вагонов. Господин Вольфсон беседовал с управляющим Краузе относительно пятна. Тот обещал ему, что весной будет произведен ремонт; вообще же, по его мнению, такие пятна – пустяки: порядочная квартира так же немыслима без пятна, как Святая Дева без младенца. Возможно, но хорошего в пятне тоже мало. На днях придется опять поговорить с управляющим Краузе.

Размышления Маркуса Вольфсона были прерваны приходом его шурина Морица. Фрау Вольфсон поставила на стол вторую бутылку пива, и мужчины заговорили о мировых событиях, о хозяйственном положении в стране. Наборщик Мориц Эренрайх, маленький, коренастый, с решительным, живым лицом, изборожденным множеством складок и морщин, с карими острыми глазами и всклокоченными волосами, шагнул широко расставляя ноги, из угла в угол, по обыкновению ни с чем не соглашаясь, полный самых мрачных предчувствий. Он не склонен рассматривать случай в метро как исключение. Такого рода подвиги, предсказывает он, станут теперь в Германии обычным делом, как в свое время в царской России. Жечь и громить будут на Гренадиштрассе, на Мюнцштрассе. Не пощадят никого и на Курфюрстендамм – тамошним господам тоже придется кое-что пережить.

Маркус Вольфсон раскошелится еще на бутылку пива. Радует его чмокание, с каким пробка выскакивает из горлышка, и с добродушной иронией смотрит на приземистую боксерскую фигуру шурина.

– Что же, по-твоему, нам делать? – спрашивает он. – Стать разве всем «маккавейями» и обучаться боксу?

Мориц Эренрайх пропускает мимо ушей ничего не стоящие шутки Маркуса Вольфсона. Он хорошо знает, что нужно сделать: надо иметь в кармане пятьсот английских фунтов, которые дают эмигрантам право на въезд в Палестину. Падение английского фунта в настоящее время очень приблизило Морица к осуществлению его планов.

– Если бы вы взялись за ум, – ты, Маркус, и ты, Мириам (он так же упорно называет сестру Мириам, как господин Вольфсон называет ее Марией), вы бы поехали со мной.

– Не прикажешь ли мне засесть на старости лет за древнееврейский? – посмеивается господин Вольфсон: он сегодня в хорошем настроении.

– Тебе все равно никогда не осилить его, – язвит Мориц Эренрайх. – А вот детей своих ты напрасно не учишь древнееврейскому. Кстати, на наших курсах занимается одна из Опперманов; она неплохо поет.

То, что одна из Опперманов изучает древнееврейский, заставляет господина Вольфсона задуматься. С интересом выслушивает он кое-какие сведения, которые сообщает Мориц Эренрайх. Палестина, как оказывается, одна из немногих стран, не затронутых кризисом. Вывоз растет. Развивается там и спорт. Господин Эренрайх надеется в скором времени присутствовать там на спортивной олимпиаде. Мориц говорит горячо, захлебываясь, стремительно бежит из угла в угол: он заражает своей горячностью.

Но господину Вольфсону даже и во сне не снится покинуть Берлин. Он любит этот город, любит фирму Опперман, любит дом на Фридрих-Карлштрассе, свою семью, свое жилище. «My home is my castle». С удовольствием смотрит он на картину в красивой раме, на богов и богинь, играющих в салки. Если бы не пятно на стене и не господин Царнке за стеной, он был бы безгранично счастлив.

Облокотившись на письменный стол, сидит профессор Эдгар Опперман в директорском кабинете городской клиники. Нахмурившись, смотрит он на грудку деловых бумаг. Насколько он любит все, что связано с его деятельностью врача-хирурга, настолько ненавидит этот директорский кабинет, канцелярщину, администрирование. Старшая сестра Елена стоит неподалеку от двери, широкая и решительная. Каждое утро она испытующе всматривается в своего профессора, словно перед ней только что доставленный в больницу интересный больной. Она знает, что оба лица Эдгара Оппермана, которые он чаще всего показывает внешнему миру: одно – серьезное, строгое, сосредоточенное, другое – подчеркнуто жизнерадостное, уверенное, – это маски. Да, он неутомимый, жизнерадостный работник, от природы в нем заложена уверенность в себе, но для того, чтобы целый день демонстрировать свою уверенность, свою энергию перед сотнями все новых и новых людей, требуется напряжение, и она, сестра Елена, знает, что его жизнерадостность часто бывает деланой, судорожной.

В общем, сестра Елена ладит со своим профессором. Но когда он у письменного стола, с ним трудно. Она видит вертикальные складки над переносицей, они ей отлично знакомы. Плохой признак. Сейчас немногим больше одиннадцати, а профессор Опперман успел провести прием, сделал два-три частных визита, и впереди у него еще напряженный рабочий день. Но сестра Елена знает, что первый запас энергии у него уже иссяк, что ему нужно снова зарядиться. Он переутомлен. Ее профессор всегда переутомлен. Если бы хоть фрау Гина Опперман не была такой тряпкой. Здесь, в клинике, сестра Елена еще как-то может его оградить, но бессовестный народ разнюхал все лазейки: они звонят к нему на квартиру, и фрау Гина, эта жалкая курица, не может ни перед кем его отстоять: он вечно готов выехать к больному.

Сегодня Эдгар Опперман с особым отвращением сидит над своей корреспонденцией. Из года в год обстановка работы все сложнее и сложнее. Мелочи, которые раньше автоматически улаживались, требуют теперь канительной, противной возни. Сурово, словно перед ним плохо подготовленные студенты, оглядывает он письма.

Сестра Елена решительно подходит к письменному столу. Показывает на записку, на которой что-то размашисто написано и трижды подчеркнуто красным карандашом.

– Вы это видели, господин профессор?

Профессор Опперман, не меняя положения широко раздвинутых рук, не меняя положения большой, массивной головы, скашивает глаза на записку и говорит угрюмо:

– Да.

В записке сказано: «Господин тайный советник Лоренц заглянет сюда в двенадцать часов. Просит господина профессора Оппермана, если возможно, быть к этому времени».

Эдгар Опперман недовольно сопит:

– Это, вероятно, по поводу Якоби?

– По какому же еще? – строго говорит сестра Елена. – Дело Якоби сильно затянулось.

Дело Якоби, думает Эдгар Опперман. Существует уже, значит, «дело Якоби». А ведь, кажется, все так просто. Доктор Мюллер, старший врач ларингологического отделения, принял предложенную ему в Кильском университете профессорскую кафедру. Эдгар Опперман хотел, чтобы на место Мюллера назначен был его, Эдгара, любимый ассистент, доктор Якоби. Полгода тому назад назначение это было бы оформлено в две недели. Якоби чрезвычайно ценный научный работник, он исключительный диагностик, незаменимый помощник Эдгара в лаборатории. Но он нескладный какой-то, из бедной семьи, жившей в берлинском гетто, тщедушный, уродливый, застенчивый. Раньше все это не служило бы препятствием. Эдгар Опперман знает, что, если освободить Якоби, который все годы учения жил впроголодь, от насущных денежных забот, если дать ему возможность свободно работать, он совершит большие дела в науке. Верно: доктор Якоби напоминает те шаржи на евреев, что изображаются в юмористических журналах. Но в конце концов, что важнее для пациента – приятная внешность врача или его умение определить болезнь?

Эдгар вздыхает. Значит, тайный советник Лоренц желает говорить с ним. Лоренц – главный врач всех городских клиник. Теоретик не из выдающихся, зато превосходный практик. Теорию он, однако, не в пример многим практикам не презирает. К научной работе относится с уважением и по мере сил смиренно поддерживает ее. Принципиально он согласился на кандидатуру Якоби, и все же у Эдгара какое-то неприятное чувство в связи с предстоящим разговором.

Лоренц будет в двенадцать. Следовательно, обход больных придется поручить доктору Реймерсу.

– Хорошо, – вздыхает он. – К двенадцати я буду здесь. Если на несколько минут запоздаю, попросите тайного советника Лоренца подождать. – Эдгар всегда запаздывает, сестра Елена рассчитывает на это. Сегодня это кстати: она хочет переговорить с тайным советником Лоренцем о вещах, касающихся ее профессора.

Эдгар поворачивается к ней. Он принял решение, и поэтому лицо его сразу преобразается. Это опять знакомое всем жизнерадостное лицо уверенного в себе человека.

– В лабораторию мне можно еще сходить, сестра, а? – Эдгар улыбнулся. – А от этого вот, – он показывает на грудку бумаг, – раз уж я согласился на разговор с Лоренцем, освободите меня на сегодня. – Он плутовато, как школьник, который хочет увильнуть от неприятного урока, усмехается, встает, мгновенно исчезает за дверью.

Быстрым шагом, ступни вовнутрь, парусит он в развевающемся халате по длинным, крытым линолеумом коридорам. Доктор Якоби сидит над микроскопом, маленький, скрючившийся. Эдгар Опперман энергично машет ему, чтобы он спокойно продолжал работу. Но доктор Якоби встает. Щуплый, насупившийся, угловатый, он подает Эдгару мягкую, сухую детскую ручку. Эдгар знает, какого труда стоит этому человеку, склонному к сильному потению, сохранить свою руку сухой во время работы.

– Мы не должны обманываться, профессор, – говорит доктор Якоби. – Результаты у пациента восемьсот тридцать четыре неутешительны. Больной был в третьей стадии.

Эдгар пожимает плечами. Применение способа Оппермана, того самого хирургического способа, который сделал изобретателя его знаменитым, на известной стадии болезни уже сопряжено с риском летального исхода. Эдгар Опперман никогда и не утверждал обратного. Он углубляется с доктором Якоби в обсуждение статистики заболеваний. Самое важное – точно разграничить отдельные стадии болезни, точно установить момент перехода второй стадии в третью. Во что бы то ни стало нужно искать пути к тому, чтобы снизить коэффициент неуверенности.

Горячо и нескладно уговаривает доктор Якоби своего патрона. А патрон сегодня более чем когда-либо убежден, что уж если кто призван усовершенствовать способ Оппермана, то это он, фанатик точности, доктор Якоби. Этому Якоби в самом деле цифры его статистических данных важнее цифр его заработка. Он не думает о том, что говорит с единственным человеком, который может ему обеспечить сносные условия существования. Да и человек этот забывает, что ему предстоит через несколько минут разговор, который решит судьбу его собеседника. Зябко кутаясь в халат, горбится на табуретке маленький Якоби. А Эдгар бежит из угла в угол быстрым, несколько тяжелым шагом, ступни вовнутрь; халат путается у него меж ног. И тот и другой забыли обо всем, что не имеет отношения к жизнеспособности и коэффициенту размножения известной бациллы.

Вдруг Эдгар испуганно останавливается. Он вытаскивает часы: десять минут первого. Жаром обдает его при мысли, что старик Лоренц ждет его. Он обрывает себя на полуслове. Блестящий ученый, маленький доктор Якоби, как только разговор перестает касаться микробов, угасает и превращается в серого, уродливого карлика, какой он и есть в действительности. Сказать ли ему, что он спешит по его, Якоби, делу? Нет, думает Эдгар, ни за что. Старик Лоренц человек порядочный, но в административных делах всегда есть какой-то коэффициент неуверенности. Неменьший, во всяком случае, чем в способе Оппермана. Как он сидит, этот бедняга, смотреть жалко. Торопливо жмет Эдгар руку Якоби. Его рука невелика, но крохотная ручка Якоби тонет в ней.

– В один из ближайших вечеров вы должны у нас отужинать, дорогой Якоби. Мне хочется с вами хоть раз хорошенько потолковать. Ах, эта наша проклятая берлинская замотанность. – Эдгар улыбается; от улыбки лицо его сразу молодеет.

Снова несется он по коридорам. Он пригласил маленького Якоби к ужину, надо сказать Гине, надо согласовать время; сестра Елена должна ему напомнить об этом. Хорошо бы условиться на такой вечер, когда и Рут будет свободна. Почему он подумал о дочери? Несомненно, какая-нибудь ассоциация с доктором Якоби. Вероятно, это страстность или, прямо сказать, одержимость, с которой оба относятся к задаче своей жизни. Он, Эдгар, посмеивается над сионистскими симпатиями Рут. Ему бы следовало уделять дочери больше внимания. Ratio, ratio⁶, дочь моя! Не беги в монастырь, Офелия! Жаль, что самые простые вещи труднее всего понимаются. Он немецкий врач, немецкий ученый: но не существует медицины немецкой или медицины еврейской, существует наука, и больше ничего. Это знает он, знает Якоби, знает старик Лоренц. Но уже Рут этого не знает, а те, от кого теперь все зависит, знают это еще меньше, чем она. Ему немного неприятно при мысли о совещании, на которое он спешит. В конце концов надо бы послать маленького Якоби в Палестину, улыбается он.

В директорском кабинете все происходит так, как предполагала сестра Елена. Тайный советник Лоренц явился точно в двенадцать, ее профессор запоздал, у нее есть время поговорить с тайным советником.

⁶ Разум, разум (лат.).

Прославленный способ Оппермана за последнее время все чаще и чаще становится мишенью злостных нападок на столбцах берлинских газет. Хирурга Эдгара Оппермана обвиняют в том, что он пользуется пациентами третьего разряда, неимущими бесплатными пациентами городской клиники, для своих опасных экспериментов. «Врач-иудей, – пишут в обычной своей манере некоторые коричневые газеты, – не останавливается перед тем, чтобы в целях собственной рекламы проливать потоки христианской крови». Пора положить конец этому свинству, говорит сестра Елена. Совсем не обязательно, чтобы ее патрон терпеливо сносил лягание всех этих сопляков. Она стоит у письменного стола, широкая, крепкая.

– Я хочу наконец обратить его внимание на это, господин тайный советник, – говорит она негромким решительным голосом. – Пусть он наконец что-нибудь предпримет.

Тайный советник Лоренц сидит у письменного стола, краснолицый великан с белыми, коротко стриженными волосами, с маленьким плоским носом и синими, слегка навывкате глазами, над которыми нависли лохматые белые брови.

– Я бы просто на...ал на это, дочь моя, – громыхнул он с баварской непринужденностью. Как обломки скал, вылетают слова из его большого, сверкающего золотыми зубами рта. – Сви-нарник, – гремит он и хлопает красной, в толстых вздутых жилах рукой по газетам с отчеркнутыми статьями. – Всякая политика – свинарник. И если обстоятельства не требуют особых мер, то ее просто следует игнорировать. Только так и можно досадить этой сволочной банде.

– Но ведь он на государственной службе, господин тайный советник, – сердится сестра Елена.

– Я не вижу здесь никаких оснований для того, чтобы начать канитель с этой сволочью, – сердится в ответ старик Лоренц. – Прикасаюсь к ней – только руки марасть. Не отравляйте себе жизнь, дочь моя. Пока министр оставляет меня в покое, я палец о палец не ударю. Все это, – он отшвырнул от себя газеты, – для меня просто не существует. Положитесь на меня.

– Если вы так думаете, господин тайный советник... – Сестра Елена пожимает плечами и, услышав шаги Эдгара, исчезает, далеко, однако, не успокоенная.

Эдгар Опперман просит извинить его за опоздание. Тайный советник Лоренц не встает навстречу, а сидя протягивает руку, держится подчеркнуто по-приятельски.

– Так вот, коллега, я сразу же к делу, *medias in res*⁷, так сказать. Не возражаете? Мне хотелось бы как следует потолковать с вами о деле Якоби.

– Разве оно так сложно? – спрашивает Эдгар Опперман. Голос у него сразу же становится недовольным, раздраженным.

Тайный советник Лоренц облизывает свои золотые зубы с видом полной непринужденности.

– А что в наше время не сложно, дорогой Опперман? – говорит он. – Бургомистр слюняй. Он ползает на брюхе перед министром. Он держит нос по любому ветерку, который подует сверху. Субсидию для клиник и без того с каждым разом труднее выжать. Особенно для ваших затей, дорогой Опперман, для теоретических работ, для лаборатории. Тут они, прежде чем дать, скулят по поводу каждой марки. Мы не можем не считаться с этим. Ваш Якоби, конечно, самая подходящая кандидатура. Не могу сказать, что мне лично он особенно симпатичен, это было бы неискренне, но он ученый, бесспорно. Варгуус тоже не решился прямо отклонить его. Но знаете, о ком он предлагает серьезно подумать? О Реймерсе, вашем Реймерсе, коллега Опперман.

Эдгар Опперман ходит из угла в угол быстрым, мелким шагом, машинально понуждая к движению свое грузное тело. Старая история: профессор Варгуус, его коллега по Берлинскому университету, возражает, потому что предложение исходит от него, Эдгара. Предложить кандидатуру Реймерса – это чертовски хитро. Доктор Реймерс, второй ассистент Эдгара, симпа-

⁷ Имеется в виду художественный прием, при котором повествование начинается в разгар действия.

тичный, сердечный человек, пользуется любовью больных. Эдгар ничего не имеет против Реймерса, но он – за Якоби. Положение его затруднительно.

– А ваше мнение, коллега? – спрашивает он, продолжая шагать.

– Я вам уже сказал, Опперман, – говорит Лоренц, – в принципе я за вашего уродца. Но заявляю вам прямо: предвижу трудности. Теперь некоторые влиятельные лица предпочитают представительную внешность внутренним качествам. Черт бы ее побрал, эту политическую клоаку. При всех условиях у Реймерса перед маленьким Якоби то преимущество, что он не обрезан. Не думаю, чтобы господам из магистрата потребовались фотографические снимки Реймерса и Якоби в натуре. Но личного знакомства в таких случаях, пожалуй, не избежать. Не знаю, повысит ли такое знакомство шансы нашего Якоби.

Эдгар остановился далеко от Лоренца. Его ворчливый голос прозвучал вдруг удивительно четко по сравнению с невнятным гроыханием старика Лоренца.

– Вы хотите, чтобы я снял кандидатуру доктора Якоби?

Лоренц еще больше выкатил свои выпученные глаза, собираясь, видимо, ответить крепким словом, но не сделал этого. Наоборот, необычайно мягко, без свойственного ему гроыхания, сказал:

– Я ничего не хочу, Опперман. Я хочу только открыто говорить с вами, вот и все. Реймерс мне милее. Говорю, как оно есть. Но как человек науки я высказываюсь за вашего Якоби.

Эдгар Опперман старательно придвинул себе стул, тяжело опустился на него; сидя он, как все Опперманы, казался очень высоким. Он сидел сумрачный, искусственная жизнерадостность его улетучилась. Старик Лоренц вдруг встал, выпрямился: огромная краснолицая, бело-волосая голова вздыбилась над мощным туловищем. В широко развевающемся белом халате он подошел к Эдгару.

«Настоящий врач, – сказал он как-то одному робкому студенту, – может все, делает все, а боится только бога». «Бойся бога» прозвали его с тех пор студенты. Но сегодня он не был разгневанным Иеговой.

– Я не преувеличиваю своих заслуг, Опперман, – сказал он так мягко, как мог. – По существу, я старый сельский врач. Я разбираюсь в болезнях своих пациентов, и порой нух подсказывает мне то, чего вы, молодые, не знаете. Но я не знаю очень многого, что вам, молодым, известно. В общем, Реймерс мне больше по душе. Но я отдаю предпочтение вашему Якоби.

– Как же быть дальше? – спросил Эдгар.

– Об этом я хотел у вас спросить, – ответил Лоренц. И так как Эдгар Опперман упрямо молчал и вокруг длинного рта его залегла маленькая, непривычно ироническая складка, Лоренц прибавил: – Признаюсь прямо: я легко мог бы сейчас же провести вашего Якоби. Но насчет субсидии нам тогда придется туго. Пойти на это? Рискнуть? Вы этого хотели бы?

Опперман издал какой-то рокошующий, странный звук, в котором были вместе и горький смех, и отрицание.

– Ну вот видите, – сказал Лоренц. – В таком случае нам остается единственная тактика: оттянуть решение. За месяц политическая ситуация может измениться к лучшему.

Опперман что-то пробурчал. Лоренц принял это за выражение согласия. Довольный, что неприятный разговор окончен, он громко, с облегчением вздохнул и положил руку на плечо Опперману:

– Наука терпелива. Придется, видно, и Якоби немножко потерпеть. Вот если бы кто-нибудь соединял в себе внешность Реймерса с качествами Якоби. Иначе они не пойдут на это дело. Вся суть в несовершенстве человеческой природы, коллега. В общем, паршивая штука, – сказал он уже за дверь. Последние слова прозвучали как отголоски уходящей грозы. – Я имею в виду человеческую природу.

Когда Лоренц ушел, Эдгар встал. Ступнями вовнутрь, непривычно медленно прошелся из угла в угол. Потом, вопреки всему, стал убеждать себя, что разговор кончился не так уж

плохо. Во всяком случае, старик Лоренц – человек слова. Дурное настроение Эдгара рассеялось быстро, как у ребенка. Когда сестра Елена вошла в комнату, на лице его снова сияло лазурное небо.

Сестру Елену, в противоположность Опперману, не удовлетворил разговор со стариком Лоренцем. Со свойственной ей обстоятельностью обдумала она каждое его слово. Он сказал, что советует профессору Опперману жаловаться на негодяев лишь тогда, когда сам министр намекнет на необходимость этого. Но рано или поздно министр, конечно, намекнет. Она должна подготовить своего профессора. «По-моему, все-таки лучше будет, если я покажу ему эти статьи».

Однако, увидев сияющее лицо Эдгара, сестра Елена, несмотря на всю свою решительность, предпочла отложить разговор.

– Очень было неприятно? – ограничилась она вопросом.

– Нет-нет, – улыбнулся Опперман своей приветливо-лукавой улыбкой. – Отношение приятного к неприятному примерно два к трем.

На пятиминутной перемене перед уроком немецкого языка Бертольд держался мужественно, делал вид, что забыл о предстоящем испытании, говорил с товарищами о всяких пустяках. И преподаватель Фогельзанг делал вид, что его несколько не трогают предстоящие события. Он вошел в класс, поднялся на кафедру, сел, прямой, выпятив, по обыкновению, грудь, и стал перелистывать записную книжку.

– Что у нас сегодня? Так-так, доклад Оппермана. Пожалуйста, Опперман. – И когда Опперман вышел, Фогельзанг, явно хорошо сегодня настроенный, шутливо подбодрил его: – Вольфрам фон Эшенбах, начинай!

Бертольд стоял между кафедрой и партами в нарочито небрежной позе, выставив правую ногу вперед, опустив правую руку, слегка подбоченясь левой. Он отнесся к работе серьезно, не отступил ни перед какими трудностями, и он достиг цели: теперь ему было ясно, чем для нас или, по крайней мере, для него самого является Арминий Германец. С точки зрения рационалистов, подвиг Арминия был, пожалуй, бесполезен; но такой взгляд не мог устоять перед чувством безусловного восхищения, которое, особенно в современном немце, должен вызвать подвиг этого борца за свободу. Эту мысль собирался развить Бертольд согласно добрым старым правилам, усвоенным в школе: общее введение, постановка проблемы, точка зрения докладчика, доказательства, возражения, опровержение возражений, наконец, заключение, в котором со всей отчетливостью повторяется основной тезис докладчика. Бертольд до последней запятой зафиксировал на бумаге все, что хотел сказать. Но так как он обладал даром слова, он не стал механически зазубривать наизусть написанное, а решил, строго придерживаясь основного плана, положиться на вдохновение в формулировке частных.

И вот он стоит перед классом и говорит. Он видит перед собой лица товарищей: Макса Вебера, Курта Баумана, Вернера Риттерштега, Генриха Лавенделя. Но он говорит не для них. Он говорит только для себя и для того, кто сидит позади, – для врага.

Да, учитель Фогельзанг остался позади Бертольда, за его спиной. Он сидит выпрямившись и, ни на мгновение не позволяя себе отвлечься, слушает. Бертольд не видит его, но знает: взгляд Фогельзанга неподвижно устремлен на него. Он ощущает то место под воротничком, куда проникает взгляд Фогельзанга. Ему кажется, будто кто-то острым ногтем впился ему в шею.

Бертольд силится ни о чем не думать, кроме своего доклада. В его распоряжении добрых полчаса. Около восьми минут уже прошло, введение он кончил, постановку проблемы изложил, тезис свой изложил, перешел к «доказательствам». И вдруг он чувствует, что взгляд Фогельзанга его отпустил. Да, Фогельзанг встал, очень тихо, стараясь не мешать. Он прошел вперед; Бертольд увидел его у стены слева. Он шел на цыпочках, размеренным, нарочито осто-

рожным шагом, вдоль левого ряда парт, Бертольд слышал легкое поскрипывание его ботинок. Фогельзанг прошел в самый конец класса, в левый угол. Он хочет иметь Бертольда перед глазами, хочет видеть, как у Бертольда слетают с губ слова. Он стоит за последней партой, вытянувшись в струнку, – не опирается ли он рукой на невидимую саблю? – неподвижно устремив бледно-голубые глаза на рот Бертольда. Под этим взглядом Бертольду становится как-то не по себе. На мгновение он поворачивает голову к учителю, но вид того мешает ему еще больше. Он то смотрит вперед, то дергает, вертит головой, словно отгоняя назойливую муху.

Он заканчивает «доказательства». Он говорит уже не так хорошо, как вначале. В классе жарко: в гимназии королевы Луизы классы всегда чересчур натоплены; на верхней губе у Бертольда появляются капельки пота. Он переходит к «возражениям».

– Подвиг Арминия, – говорит он, – с точки зрения трезвого разума не дал, пожалуй, ощутимых внешних результатов: через несколько лет римляне снова оказались там, где они были до битвы в Тевтобургском лесу. Более того...

Он запнулся на миг, потерял вдруг нить мыслей. Сделал усилие, чтобы сосредоточиться. Мысленно он видит узкие страницы своего латинского Тацита и крупный шрифт немецкого Тацита в роскошном издании. Он снова смотрит в левый угол. Фогельзанг стоит по-прежнему неподвижный, настороженный. Бертольд открывает рот, закрывает его, открывает его снова, опускает глаза на кончики ботинок. Секунд восемь, верно, уже прошло, как он замолчал, или все десять. На чем он остановился? Да, на том, что подвиг Арминия не имел, в сущности, видимых результатов. Несомненно, лютеровский перевод Библии или изобретение Гутенберга сыграли для Германии и для ее значения в мире бо́льшую роль, чем битва в Тевтобургском лесу. Подвиг Арминия, это следует признать, не имел практического значения.

Так ли он хотел сказать? Он ведь собирался выразить это гораздо осторожнее, не так резко, не так прямо. Ну уж куда ни шло. Вперед, Бертольд. Не отступать. Только без пауз. И так уже первая пауза длилась вечность. Но теперь он снова поймал нить. Теперь с ним ничего уже не может приключиться. На «опровержениях» он уже не собьется.

Второй паузы вы не дождетесь, господин доктор. Торжествуя, он едва заметно улыбается, искоса глядя в дальний угол.

– Тем не менее... – начинает он. Но что это? Почему вдруг так странно изменилось лицо Фогельзанга? Почему шрам, рассекающий его лицо, налился кровью, почему Фогельзанг так выкатил глаза? Не поможет, господин доктор. Нить у меня в руках, вы меня не собьете больше. – Тем не менее, – начинает он бодро, энергично, – признав все это...

Но тут его обрывают. Резкий голос квакает из угла:

– Нет, не «признав». Я этого не признаю. Никто здесь не признает этого. Я не потерплю этого. Я ничего больше не желаю слышать. Что вы себе вообразили, молодой человек? Кто, по-вашему, сидит здесь? Перед истинными немцами, в эти тяжкие для Германии времена, вы осмеливаетесь назвать бесцельным, бессмысленным титанический подвиг, положивший начало германской истории? Вы сказали, что вы это признаете. Вы осмеливаетесь пользоваться доводами самого низкого оппортунизма и потом заявляете, что признаете их? Если в вас самом нет и искры национальной гордости немца, то избавьте хоть нас, национально мыслящих, от ваших мерзостей. Я запрещаю вам говорить так. Слышите, Опперман? Запрещаю не только от своего лица, но и от имени этого учебного заведения, которое пока еще является немецким.

Наступила мертвая тишина. Духота в классе давно уже навела на учеников сонную одурь; они сидели вялые, кое-кто клевал носом. Резкие, повышающиеся окрики Фогельзанга заставили их встрепенуться, взглянуть на Бертольда. Так ли уж страшно было то, что он сказал? И что, собственно, он сказал? Как будто что-то о Лютере и Гутенберге? Гнев Фогельзанга классу не вполне понятен, но возможно, что Опперман и в самом деле чуть-чуть заврался. В таких докладах нужно излагать лишь то, что сказано в учебниках, не больше и не меньше. Опперман, видно, влип.

А Бертольд, когда Фогельзанг его оборвал, был глубоко удивлен. Что ему нужно? Чего он раскричался? Пусть, пожалуйста, даст договорить. До сих пор у них не принято было перебивать докладчика. Доктор Гейнциус никогда этого не делал. Но Гейнциус лежит на Штансдорфском кладбище. А этот стоит тут и кричит. Ведь надо же было привести «возражения». Их нельзя обойти, а теперь нужно их опровергнуть. Так нас учили, таковы правила, так требовал доктор Гейнциус.

Я ведь ничего не сказал против Арминия. Это было только «возражение», и я собирался его опровергнуть. Вот моя рукопись. Свою точку зрения я ведь ясно изложил в начале раздела Б. Пусть он замолчит наконец. Чего он так орет?

Как только он предложил мне Арминия, я сразу почуял недоброе. Мне надо было настаивать на «гуманизме». И Генрих тогда сразу же сказал, что он свинья и что все это подлейшая личная придирка. Ведь он несет сплошную чепуху. Вот моя рукопись, она в парте, в ранце. Стоит заглянуть в нее, и всякому станет ясно как день, что эта свинья несет сплошную чепуху.

Что я, собственно, сказал? Уж и не помню точно. В рукописи этого не было. Я могу все же на нее сослаться. И каждый увидит, что я имел в виду.

Не стану я ссылаться на рукопись. Арминий попросту безмозглый дикарь, терпеть его не могу. «Возражение» правильное. Как я сказал, так оно и есть.

От небрежной позы Бертольда не остается и следа. Он стоит очень прямо, высоко подняв массивную голову, устремив вперед взгляд серых глаз. Он грудью встречает град вражеских слов.

А тот как будто кончил молоть свой вздор. Бертольд стоит, крупными белыми зубами закусив нижнюю губу. Надо бы вынуть сейчас рукопись и сказать: «Чего вы, собственно, хотите, господин учитель? Пожалуйста, вот моя рукопись». Но он не говорит этого. Он молчит, оскорбленный, ожесточенный. Серые глаза твердо выдерживают взгляд бледно-голубых глаз. Наконец, после бесконечной паузы, он говорит четко, не очень громко:

– Я тоже немец, господин учитель, я такой же настоящий немец, как и вы.

Эта чудовищная дерзость мальчишки-еврея на миг лишает доктора Фогельзанга дара речи. Он готов уже разразиться громоподобной тирадой. Но нет. Все козыри у него в руках, и он не хочет проиграть партию из-за необдуманной вспышки. Он сдерживается.

– Так! – произносит он, тоже не очень громко. – Вы, значит, настоящий немец. Будьте добры предоставить другим судить, кто настоящий немец, а кто нет. Тоже – немец.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.